ЛЮБОВЬ БАРИНОВА
ЕВА
Специальное издание к премьере сериала
Я ЗНАЮ,
КТО ТЕБЯ УБИЛ
18+

Любовь Павловна Баринова
Ева. Я знаю, кто тебя убил
Серия «Классное чтение»

indd предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48427954
Любовь Баринова Ева:
ISBN 978-5-17-117979-3

Аннотация

Специальное издание к премьере сериала «Я знаю, кто тебя убил» в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей девочки страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал.

Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое…

Автор сценария: Денис Уточкин.

В ролях: Юлия Снигирь, Александр Яценко, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин-младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Георгий Уточкин, Игорь Хрипунов и другие.

Производство: «НМГ Студия», «Киностудия КИТ».

Онлайн-платформа: Wink.ru.

Содержание

1	6
2	12
3	18
4	26
5	32
6	35
7	44
8	53
9	59
10	62
11	70
12	75
13	81
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Любовь Баринова
Ева

Издательство благодарит литературное агентство «Banke, Goumen & Smirnova» за содействие в приобретении прав

Серия «Классное чтение»

Редакция Елены Шубиной, 2019
© Баринова Л. П., 2019
© Мачинский В. Н., художественное оформление, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к мести,
Как у меня?
У. Шекспир. Гамлет

Все, что делается из любви,
совершается всегда
по ту сторону добра и зла.
Ф. Ницше

1

Ее не должно было быть. Если мир основан на справедливости, если у мира есть Бог, ее не должно было быть. Но она – есть. Ручки, ножки, платьице в горошек, розовые сандалики. Здорова и жизнерадостна. Бежит за мячиком. Мяч величиной с кулак весело катится по пыльной дорожке, подкатывает к тяжелым ботинкам Германа. Герман останавливает добычу ногой, надавливает, крепко прижимает к земле. Красно-синий мячик почти полностью скрывается под толстой подошвой ботинка. Герман жмет сильнее, надеясь, что мяч лопнет, разлетится на рваные кусочки.

Девочка подбегает к Герману. Протягивает руки за своей игрушкой, улыбается, ждет. Лет трех. Глаза чуть припухлые, глубоко посаженные, серые, умные. Вытянутое личико. Дитя убийц. В нетерпении девочка приседает на корточки и пытается вытащить мячик из-под ботинка Германа. Дергает изо всех силенок. Если опустить ботинок на бледный паучок кисти, то суставчики хрустнут и ладошка превратится в тряпочку. Нет, это выше его сил!

Герман бросает взгляд сквозь куст сирени на мужчину и женщину, весело болтающих возле черной *BMW*. Ломакины и не подозревают, что если бы они первыми выбрались из машины, то уже лежали бы на земле с простреленными лбами. Но первой выскочила девчонка со своим мячиком. Гер-

ман отталкивает девочку, хватает мяч и выбегает из двора.

Пока он добирается до дома, грозовая мгла окутывает город дымчатыми сетями. Герман тянет на себя раскаленную ручку входной двери, ныряет в пекло подъезда, пропеченного за несколько жарких дней. Поднимается, прихрамывая, на пятый этаж. За окнами лестничных площадок молнии вспарывают ткань лилового неба. Грохочет хоть и далеко, но уже почти непрерывно.

– Господи, господи, страсти какие, – бормочет старуха, выбрасывая мусор в змею мусоропровода. Оглушив притихший дом грохотом ржавой крышки, она крестится и ищет сопричастности в глазах Германа. Но Герману наплевать на грозу, наплевать на старуху. Он должен быть сейчас в милиции, а Ломакины – лежать в черных пластиковых мешках. Гроза, как финальный аккорд, как одобрение свыше, тогда пришлась бы кстати. Но теперь ей стоило бы отменить свой театральный выход. Месть не удалась. Герман не предусмотрел, что Ломакины заведут ребенка.

Зажав под мышкой мячик, Герман вставляет ключ в замок, поворачивает. Квартира пуста, стерильна. Вчера, 28 мая 2003 года, он убрал все следы своей и Евиной жизни, не желая, чтобы в них копались следователи, или кого они там присылают. Что-то сжег в лесу, что-то раздал, что-то выбросил.

Старый паркет скрипит под тяжелыми ботинками. Герман проходит в комнату Евы, останавливается посередине. Он

не рассчитывал, что сегодня вернется. Что вообще вернется. Мячик разъедает ладонь – новенький, еще с этикеткой, он остро и терпко пахнет детством, счастьем. Герман швыряет мяч в угол, ложится, вдавливает затылок в прогретый за день пол, чистый, как в операционной, после вчерашней уборки.

Верхушка ивы за окном приходит в движение, бьется в припадке, давится эпилептической пеной листвы, то открывая, то закрывая силуэт Останкинской телебашни. Обрушившийся в одно мгновение ливень штурмует дребезжащее оконное стекло, снова и снова стреляет дождевыми пулями, которые разбиваются насмерть о стекло и безвольно стекают друг за другом на карниз. Гром камнепадом скатывается с неба по всем этажам дома, звук от каждого удара отдается в прижатом к паркету позвоночнике Германа.

Герман вытаскивает пистолет из кармана и приставляет к виску. Молнии угодливо освещают сцену: платяной шкаф, диван и кресло с танцующими ножками, столик у окна и этажерка в углу. Выцветшие обои с яркими пятнами из-под исчезнувших картин, фотографий. Лампочка вместо люстры. Вешалки, полки и ящички в открытом шкафу пусты. Как и этажерка.

Вчера Герман действовал как машина с отлаженным, не знающим сбоя механизмом. Несколько часов он складывал в мешки вещи сестры, до которых четыре года не мог дотронуться. Джинсы, платья, белье, свитера, туфли (хранившие в кожаных складках и пятнах стелек запах Евы, разношенные,

мягкие, со стоптанными немного каблуками). Безделушки из поездок, подарки ее поклонников. Книги, кассеты, альбомы с фотографиями. Портрет, написанный влюбленным студентом-эвенком – что-то размытое, темно-синее и вправду живо напоминающее Еву.

Портрет этот отлично пылал вчера в подмосковном лесу недалеко от Красногорска. Костер горел часов семь, целую рабочую смену, как какая-нибудь металлургическая печь. Плавил, жег, уничтожал прошлое Германа, то, что, собственно, и составляло его жизнь. Потом долго тлел на майском закате в нише оврага, устланного нежным ковром свежей травы. Полностью потух только на рассвете, когда соловьев сменили жаворонки.

Гром ударяет в соседней комнате. И она пуста. Свои вещи Герман тоже не мог бросить тут, как беспомощных сирот, на долгие годы тюремного заключения. Уничтожил вместе с Евиными. Опустела и кухня: в шкафчиках не осталось ни чашек, из которых пила Ева, ни ложек, ни вилок, которых касались ее гу́бы. Нет больше тарелок, хранивших фантомы тех солнечных дней, когда Ева ставила перед Германом дымящееся мясо, или нежную рыбу, или лимонный пирог. Ева готовила вкусно. Из ванной исчезли ее и его зубные щетки, расчески, шампуни. То, что не могло сгореть, Герман разбил, разломал, растоптал, превратил в бесформенные частицы. Он не мог позволить чужим рукам, глазам, носам, ботинкам трогать, касаться, вдыхать, как-то еще взаимодействовать с

отголосками запаха, дыхания, смеха Евы. Вчера он разбил даже зеркала, чтобы уничтожить хранящиеся в них отражения сестры.

От Евы не осталось ничего. Только воспоминания. Лишь их он и мог взять с собой в тюрьму. Но тюрьма теперь отменялась.

Гроза уходит. Герман опускает пистолет, и тот глухо падает на пол. Голоса птиц вместе со стуком капель разносятся по обновленному чистому воздуху. Под окнами, радостно повизгивая тормозами, стартует машина. Горячая солнечная полоса прожигает живот Германа. Он поднимается и идет в свою комнату, разряжает пистолет, убирает его в ящик стола, где остались только документы и досье – на Олега и Ольгу. Солнце с любопытством читает надпись на папке, но Герман быстро задвигает ящик. Садится на диван. Вчера он выбросил даже плед, и теперь диван стыдливо обнажен – стертый синий велюр и очертания пружин, пытающиеся, как упрямые цыплята из скорлупы, вылупиться на свет. Сняв ортопедические ботинки, Герман стягивает взмокшие носки. Правая ступня из-за детской травмы деформирована, испещрена давно зажившими шрамами. Он опускает распаренные ступни на пол, ожидая прохлады, однако ее нет, пол теплый.

Босиком (тапок больше нет) он идет в ванную, снимает пропотевший пиджак и рубашку. Других вещей, кроме этих, у него тоже нет: все сгорело вчера в очистительном пламени. Герман отвинчивает кран, пьет сначала медленно, а потом

жадно, долго. Моет шею, лицо. Привычно поднимает голову, чтобы посмотреться в зеркало, но и его больше нет. Даже мыла нет, чтобы постирать рубашку и носки.

2

Убийцы Евы поселились в доме на Ленинградском проспекте. Первый этаж утыкан магазинами, ателье, ремонтными мастерскими, мимо них весь день вьется, течет шумная людская лента. Двор же, где Герман следит за Ломакиными, представляет собой мини-парк с дубами, кустами жасмина и увядающей сирени, на клумбах цветут тюльпаны, на скамейках весь день сидят пенсионеры и читают газеты. Ольга Ломакина любит выгуливать дочь по дорожкам двора.

Герман наблюдает за ней и девочкой в армейский бинокль из старого *Volkswagen Golf*. Ему пришлось взять кредит, чтобы обзавестись машиной и необходимыми вещами. Немного денег оставил на еду, бензин и сигареты. С работы перед неудавшимся судным днем Герман уволился, поэтому условия кредита адские, но сейчас это обстоятельство не имеет значения. Ему нужно найти решение, что делать с Ломакиными. Время идет. Герман выяснил, что Ломакины вернулись из-за границы на несколько месяцев, а к зиме снова уедут в Италию. Иногда к Ольге и девочке присоединяется Олег. Качает дочь на качелях, катает на трехколесном велосипеде. Время от времени они всей семьей уезжают гулять по городу. Бывает, катаются весь день на яхте на водохранилище под Москвой. Герман, как сторожевой пес, следует за ними повсюду.

17 июня Ломакины стоят в очереди в кассу зоопарка. Ольга, в темно-синем платье в мелкий белый горошек, с тщательно, туго зачесанными вверх и уложенными во французский пучок песочными волосами, держит Олега под руку. Рядом с ним она кажется миниатюрной. На Ломакине джинсы, белая рубашка, ботинки размера пятидесятого, не меньше. За четыре года, пока Герман не видел Ломакина, тот будто еще вырос и раздался в плечах. Он выше всех в очереди. Девочка (джинсовые шорты, футболка) сидит на правой руке отца, жмется к нему и что-то шепчет в ухо, под бейсболку, прикрывающую лысую голову. Постукивает отцу в бок туфлей с застежкой в виде зеленой стрекозы, радужно переливающейся на солнце первоначального лета. Девочка неприятно похожа на Ломакина, такие же серые глубоко посаженные глаза, то же вытянутое лицо.

Внезапно пульсирующая темнота заливает все пространство в голове Германа, остаются только звуки – глухие, почти без перерывов удары в ушах. Герман ощупывает выпуклость пистолета Макарова под вельветом пиджака. Медленно считает до десяти, не позволяя вспышке ярости разрастись. Не время, не сейчас. От пиджака, купленного в секонд-хенде, несет специфическим дезинфицирующим запахом. Герман уже весь пропах этим запахом. Пиджак сорок шестого размера, самый маленький, какой он нашел, но все равно болтается на исхудавшем теле. Герман вытаскивает из кармана лист сирени, разрывает его и, продолжая считать, вдыхает

остро-горький освежающий запах. Минута, другая – и мир снова встает на место.

Девочке приглянулись утки. Ломакины остановились у пруда, расположенного недалеко от входа в зоопарк. Олег, продолжая держать девочку на руках, отламывает от булки кусочки, отдает дочери, а та сжимает их в кулачке и кидает уткам, шелестящим крыльями по воде навстречу угощению. Когда самая шустрая утка хватает кусок, девочка смеется, хлопает в ладоши. Ольга скучает рядом, поглядывает по сторонам. Возле ограждения пруда народу много, поэтому Герман, не боясь быть замеченным и узнанным, лишь немного не доходит до Ломакиных, занимает место между парой влюбленных и пожилыми супругами в детских панамах. Пожилые супруги заняты тем, что сравнивают пары красных уток (огарей) с изображениями в старой толстой книге, которую держит старик, а влюбленные заняты друг другом. Герман делает вид, что заинтересован домиками уток, а сам наблюдает боковым зрением за Ломакиными.

Ольга что-то настойчиво говорит мужу и девочке. Говорит громко – до Германа долетают обрывки слов: *зьяны, лоны, еди*. Но девочка упрямится, она хочет кормить уток, а отец хочет радовать дочь. Он крепче обнимает ее хрупкое тельце, посмеивается, отбиваясь от жены, зовущей их дальше, и вытаскивает, словно фокусник, непонятно откуда еще одну булку. Девочка взвизгивает, вытирает ладошки о футболку и подставляет их под очередной кусочек.

Ольга, пожав плечами, отходит от ограждения и встает под дерево. Чуть повернувшись, Герман видит, как она, оглянувшись по сторонам, открывает сумочку, достает крошечную бутылку, грамм сто, не больше, и, улучив момент, когда муж и дочь восхищенно следят за взлетающей и ловящей в полете хлеб уткой, открывает крышку и быстро делает несколько глотков. Ловко убирает бутылочку назад в сумку. Потом вытаскивает двумя пальцами из кармана тесно прилегающего к телу платья пластинку жевательной резинки. Разворачивает, кладет в рот. Смотрит на небо. Расправив плечи, раскрасневшись и заметно повеселев, возвращается к мужу и дочке и, к явной радости девочки, включается в кормление уток.

Германа разъедает запредельная неправильность происходящего. Словно самого факта счастливого времяпрепровождения убийц и их дочери недостаточно, погода подбирает для них самые лучшие, самые совершенные из своих декораций. Июньский свет над прудом сияет, течет прозрачным медом, вода вспыхивает, отливает золотистыми стежками. Солнечные блики мягко дрожат на еще незагорелых руках девочки, бицепсах Олега и невыносимо изящных, затейливых, какой-то венецианский резьбы губах Ольги. Оперенье уток просматривается до самой тонкой волосинки. Солнечные пальцы путаются в волосах деревьев. Не холодно, не жарко – все то же солнце угодливо регулирует яркость, жар, поддерживает идеальное освещение этого дня.

Ноги Германа тяжелеют в ортопедических ботинках, от волнения и несправедливости начинает болеть сердце. Он решает пройти вперед и немного успокоиться. Когда Герман оказывается напротив Ломакиных, девочка как раз берет у отца кусочек булки, приподнимает голову и замечает Германа. Она смотрит на него просто и ясно, будто узнала, будто они давно знакомы и теперь она ничуть не удивлена увидеть его здесь. Герман поспешно отворачивается, ускоряет шаг и обгоняет двух женщин с колясками. Внезапно Герман понимает, что ему нужно сделать. *Он похитит девочку!*

Да, он похитит девочку, а потом год за годом, чтобы даже не думали забыть, будет напоминать Ломакиным о дочери, которую они так горячо любят, – будет посылать то носочек, то кровавую маечку. Или как-нибудь еще напомнит – над этим пунктом плана он поработает. Все оставшиеся годы Ломакины будут обречены страдать и мучиться, как обречен по их вине страдать и мучиться Герман.

Во власти охватившего его озарения Герман прибавляет шагу, огибает пруд по противоположной стороне и выходит из зоопарка. Садится в машину. Прежде чем тронуться, бросает взгляд на краснопресненскую высотку, расположенную недалеко от зоопарка. Больше десяти лет ее шпиль и башенки глядели в окно детской комнаты Германа. Эта высотка была его утешительницей, нянькой. Бессчетное количество раз мальчиком он хватался взглядом за нее, жаловался (ей одной, больше никому), а она с готовностью и любовью под-

ставляла каменное плечо. Высотка учила Германа не сдаваться. Сейчас из машины видны нижние ярусы, бывший магазин, сливочного цвета скульптуры на ризалитах. Он едва заметным кивком приветствует высотку и заводит машину. На сегодня слежка окончена, пусть Ломакины развлекаются, недолго им осталось.

3

Первые воспоминания, этот ранний оттиск сознания, являются чем-то вроде двери, через которую человек попадает в мир. И тут уж как повезет – какая дверь откроется. Кто-то делает оттиски матери, солнечной аллеи в парке, а кто-то – сцен насилия. Эти первые картинки запускают определенный характер, взгляд на мир. Возможно, впрочем, что человек появляется уже со сложившимся характером, и тогда первый ролик, снятый сознанием, – это своего рода маркер. И как тигр тянется к антилопе, медведь – к меду, а щенок – к ласке, так и новорожденный характер выбирает игрушку по вкусу.

Первым воспоминанием Германа была Ева. Он очнулся от вечности года в два, где-то ближе к вечеру. Лето. Возможно, даже начало сентября, потому как солнечный воздух прозрачен и холоден. Ева (лет трех, как он потом высчитал) сидит на полу, вытянув ноги, и заводит юлу. Сандалики на босу ногу. Красное пятно платьица. Пронзенный иглами солнца ягодный бант, кисточка темных волос. Лица́ он не помнит. Помнит ощущение небывалой радости, покоя, идущего от Евы. Наверное, ручка, которой Ева заводит юлу, грохочет и скрежещет. Но звуков в его ранних воспоминаниях не было. Хотя нет, неправда. Он помнит, например, как журчит ручей, а солдат, сидя на корточках, опрокидывает чайник и

наливает воды. Лес вокруг уже полон вечерних теней. Поют птицы. Ногам холодно. Они с Евой стучат оловянными чашками по камешкам. Впрочем, это было немного позднее, в гарнизоне.

Решив, что уже достаточно, Ева отпускает юлу, и та, обезумев от счастья, мчится по кругу ровно и весело, сверкая и переливаясь радужным неразличимым цветом. Ева хохочет и хлопает в ладоши. Юла все крутится и крутится, и уже невозможно от нее оторваться, и невозможно описать восторг, который охватывает включенное кем-то в этот момент сознание.

Второе воспоминание – гигантские сосны с мощными разветвленными стволами. Кора ствола и ветвей – мокрая, яркая, кирпично-красная. Кажется, будто ее освещает солнце, хотя на улице пасмурно, накрапывает дождь. Пышные громадные лапы качаются под ветром. Ева стоит рядом. Герман и она высунули языки и с наслаждением ловят дождевые пульки, летящие с сосновых иголок.

Где происходили эти две сценки, Герман так и не смог выяснить. Но это было точно до того, как ему исполнилось четыре. До гарнизона, где Герман и Ева жили с отцом.

Отец поднимал их каждое утро в шесть. Касался плеча, потом сильно, больно сдавливал. Иногда, очень редко, когда у отца случалось хорошее настроение, будил стишком, глупым, но, видимо, дорогим для него: «Дети, в школу со-

бирайтесь, петушок пропел давно – смотрит солнышко в окно». Втроем они усаживались за круглый стол, покрытый белой грубой скатертью. В центре скатерти был вышит замок в сине-зеленых зарослях, а по краям, которые, свисая, собирались в складки, выпучивались красно-зелено-коричневые цветы в плетеных корзинках. Отец был уже в форме, пил кофе и молчал. Время от времени сомнамбулично раскачивался на деревянном кресле-качалке. Кресло тихо постанывало – отец был крупным, тяжелым и старым. Настенные часы громко отстукивали время. Ева и Герман глотали молоко, полуостывшее, с пенками. К молоку полагался один день – белый хлеб с сыром, другой – яйцо. Отец варил яйца в желтом эмалированном ковше с черными кляксами по бокам. Бывало, Герман просыпался от бульканья и легких ударов скорлупы о дно ковша.

Герман ненавидел вареные яйца. Но раз в два дня на тарелке с полустертыми красными кольцами неизменно лежало яйцо. Сначала Герман выпивал молоко. Быстро, частыми глотками, стараясь не вдыхать его запах – от молока шел дух фермы, коров, навоза. Потом, стукнув яйцо о тарелку, подковыривал обгрызенным ногтем образовавшуюся вмятину и принимался облупливать скорлупу. Медленно, растягивая время, словно тетиву приготовившегося выстрелить лука. Яйца всегда были переваренные, с белесым желтком, похожим на тугой шерстяной моток ниток. Первый же кусок застревал в горле. Герман пытался с ним бороться, застав-

лял проталкиваться дальше, но шерстяной моток сопротивлялся, упрямо лез назад, пускал тухлый запах в нос. Герман сдавался, вскакивал и убегал в туалет, где его выворачивало. Когда он, взмокший, бледный, возвращался и садился за стол, отец поднимал голову и молча смотрел на него. Никогда не ругал, но через день на тарелке снова было яйцо.

Если отец отвлекался – раскрывал газету «Правда» или отвечал на внезапный звонок, – Ева успевала съесть яйцо за брата. В то время Ева была толстой девочкой, ела все подряд и в любых количествах. Случалось, отец ловил ее на преступлении. Тогда он молча поднимался, брал ковш, наливал шипящей от возмущения воды и опускал туда два негодующих яйца. Ставил ковш на плиту, включал газ и, повернувшись к Герману и Еве спиной (широкой, с натянутой на лопатках отглаженной формой), ждал. Вряд ли отец знал, что затылок выдавал его – злой, пылающий затылок складывался в гармошку страшными мягкими складками. Постепенно фигура отца расплывалась, теряла очертания. Стараясь не разрыдаться, Герман теребил шершавые вышитые розы и не сводил взгляда с замка в середине скатерти, его коричневого распухшего шпиля.

– Скоро придет Андрей, скоро придет Андрей, – твердил он про себя, беззвучно двигая дрожащими губами. Сквозь молочные редкие зубы выходило – *скоха пийдет Аньей*. Ева взволнованно поглаживала пухлой ладошкой вспотевшую руку брата.

Когда яйца были готовы, отец подносил дымящийся ковш к крану, обдавал ледяной водой. Потом тяжелым шагом подходил к Герману. Смесь резкого запаха гвоздичного одеколона и запаха свежего гуталина грозила прикончить Германа, и только мантра «*скоро придет Андрей*» позволяла сидеть и смотреть, как отец, взявшись за горячее яйцо двумя красными пальцами, выкладывает его на тарелку. Одно, потом другое.

Ровно в семь раздавался звонок в дверь. И сейчас Герман помнит его залихватскую простуженную трель. Тут же, спохватившись, из часов вываливалась ошалелая кукушка и сипло вторила звонку. Следом за ней за стеной у соседей заходился петухом будильник. Вошедший, высокий рыжий солдат, отдавал честь отцу. Отец собирался и уходил. Больше Герман и Ева его в этот день не видели.

Если Герман еще сидел над яйцом, Андрей мгновенно избавлял его от пытки, сожрав то, что осталось. Крошки с тарелки собирал в руку и высыпал в рот. Ловко и быстро сворачивал пыточную скатерть в рулон и убирал в шкаф. Ее место занимала остро пахнущая клеенка с подсолнухами. На ней можно было катать пластилин, капать краски, размазывать варенье, можно было даже резать ножичком, но так, конечно, чтобы не повредить столешницу. Если Герману было совсем худо, то Андрей доставал из холодильника банку, засовывал туда ручищу и вылавливал скользкий соленый огурец. Положив огурец на кусок черного хлеба, щипал Герма-

на за нос и вручал мокрое капающее лекарство.

Смолотив и сам парочку огурчиков, Андрей ставил банку на место. Снимал ремень, китель, фуражку, аккуратно развешивал и раскладывал все это по стульям и углам. Повязывал на майку фартук и принимался за настоящий завтрак – готовил тесто для блинов, оладушек или вареников. Ева помогала ему. Но сначала включала радиоприемник – прямоугольное чудище на тонких ножках. Позывные радио «Маяк» записаны у Германа в телефоне. Когда ему делается невыносимо, позывные в один миг доставляют его в ту комнату, где Андрей и Ева готовят завтрак. Андрей размешивает тесто. Утреннее солнце подступает сбоку к его немного отросшим рыжим волосам, тщательно измеряет, пересчитывает пылающие крошечные волосинки. Ева, стоя на коленях на стуле, просеивает муку (одна рука – на солнце, другая – в тени) и повизгивает от счастья, когда мучная пыль летит ей в лицо, нос, глаза, оседает на неумело заплетенных темных волосах.

Герман возвращался к жизни. Сидел у стены на кушетке, покрытой стертым тканым ковром. Осторожно вдыхал остро-соленый запах огурца, отделял жаркий запах перца, терпкий летний – укропа, дождливый, резкий – чеснока. Подносил бледнючие губы к пятке огурца и робко слизывал рассол. Потом еще. И еще. Желудок благодарно урчал, успокаивался.

Если час с отцом выдавался особенно тяжелым, а напряжение отпускало слишком стремительно, Герман, бывало, не

сдерживался и захлебывался в рыданиях – уже почти сладких, но все равно обиженно-горьких, возмущенных. Тогда Андрей давал команду Еве: «Отставить». Отложив тесто, стучал ладонями друг о дружку, стряхивая муку на пол, подходил к Герману и брал его на руки. Усадив на колени, гладил по голове теплой широкой ладонью. Герман утыкался мокрым носом в потную шею и плакал еще сильнее. От Андрея пахло хвойным мылом. Ева испуганно подходила, гладила Германа по спине и рассказывала Андрею, что произошло. Огорчалась от своих слов и тоже начинала плакать.

– Хочешь, – говорил Андрей чуть погодя, – ударь меня. – Подносил руку Германа к веснушчатой груди, обтянутой солдатской майкой. Герман всхлипывал и качал головой. Но Андрей настаивал: – Давай, не бойся. Полегчает.

И Герман ударял. Сначала слабо, потом сильнее… еще и еще… И вскоре, забывшись, лупил, молотил изо всех сил ручонками. В груди солдата начинало что-то клокотать, гудеть. Мальчик резко останавливался. В ужасе поднимал голову: Андрей смеялся. А смеялся он, как и ел, танцевал, пел и пил – невозможно заразительно. Лицо растрескивалось тонкими веселыми морщинками, пухлые обветренные губы растягивались в мальчишеской улыбке. Глаза – голубые, узкие, смотревшие обычно с хитровато-добродушным прищуром, – во время смеха смыкались. Герман смущенно улыбался и неожиданно тоже принимался смеяться. Ева глядела на них, вытирала слезы и вскоре присоединялась. И вот уже

они смеялись втроем, дружно, легко, весело – двое никому не нужных детей и солдат-срочник, невесть за какие провинности или достоинства назначенный майором Морозовым в няньки.

4

У нового решения вскоре обнаруживается недостаток: Герману придется действовать инкогнито. Более того, когда он похитит девочку, он должен будет скрываться. Возможно, убийцы никогда не узна́ют, кто это сделал и почему. Слова, которые Герман четыре года готовил, бормотал про себя, засыпая, бродя по улицам, делая операции в больнице, запихивая в себя еду, чтобы дожить до того, как снова увидит Ломакиных, так и окажутся невысказанными.

Он выступит в роли безликого слуги Немезиды. Похоже, нет другого способа восстановить справедливость и не навредить ребенку. Ломакины будут наказаны, но приговор им вслух не будет зачитан. Долгие годы Герману придется смирять эгоистичные желания ради высшей истины. Ну что ж, в конечном счете главное – чтобы Ломакины поплатились за то, что сделали с Евой. Никак не может быть, чтобы Ева гнила на кладбище, а они разгуливали по зоопарку с дочкой. Нет, так ни за что быть не может.

Герман составляет план. Самым трудноисполнимым в нем оказывается пункт «документы». Герман понятия не имеет, как их добыть для девочки. Однако если хорошенько поискать, даже в таком скудном окружении, как у него, найдутся люди, которые запустят в лабиринт шарик, и тот рано или поздно прикатится к нужной точке.

В окружении Германа таким человеком оказался Петя, бывший уголовник, санитар из больницы, где до увольнения работал Герман. Все звали его Петя, и он сам называл себя Петей, хотя это был крупный мужчина лет пятидесяти. Выражение красного лица Пети напоминало выражение волка и лисы. То есть то волка, то лисы в зависимости от обстоятельств. В светло-карих глазах светился отблеск дурных тайн. Эти тайны бесились внутри него, но было видно, что Петя крепко держал их в узде. По крайней мере до поры до времени.

Был, правда, нюанс – с Петей нельзя было в лоб, нельзя было просто так.

Герману приходится выпить с Петей бутылку водки на Воробьевской набережной. Касаясь прогретого за день парапета, глядя на вечерние прогулочные катера и кружащихся над водой чаек, редких для Москвы птиц, они говорят про действия американцев в Ираке, замерзшее озеро на Марсе, а еще про овцу Долли, усыпленную в феврале, обсуждают клонирование как вариант вечной жизни и бог еще знает что.

Только через несколько часов, уже в сумерках, Герману удается завести разговор о том, что его интересует.

– Один мой друг, – говорит он, закурив, – хочет усыновить ребенка. Родители ребенка погибли. Друг пока взял его к себе, ему жаль отдавать малыша в детский дом. Официально ему его не отдадут. Есть причины. И вот друг решил дать ему свою фамилию, отчество, купить документы, кото-

рые бы подтверждали, что это его ребенок. – Герман выпускает из носа дым, глядит, не мигая, на сморщенную ткань воды, стремительно темнеющую. – Он готов заплатить сколько надо. Только понятия не имеет, где найти людей, которые помогут ему в этом.

– Хороший у тебя друг, Герман Александрович, – отвечает, помолчав, Петя и выпускает колечко в вечерний сумрак над Москвой-рекой, разгоняя рой мошек. – А ты знаешь, Герман Александрович, за что американцы обвинили в мошенничестве одного мужика? Этот Эндрю, как его там, заработал на бирже на раз и два триста пятьдесят лимончиков. И знаешь, как он оправдывался? Заявил, что из будущего, из 2256 года. Представляешь?

И еще с полчаса они говорят о путешествиях во времени. Потом Петя вздыхает, заявляет, что ему пора, рано утром на работу. Герман подвозит Петю до одной из пятиэтажек в Черемушках, разбросанных, как детские кубики, меж странно одинаковых тонких берез, шелестящих в темноте листвой. Открыв дверцу машины, Петя пожимает Герману руку, говорит, что рад был повидаться и, будто что-то незначительное, бросает, что есть у него один *человечек*, который, возможно, знает *человечка*, который поможет другу Германа Александровича.

Вот так, по цепочке, от одного *человечка* к другому, Герман спустя некоторое время оказывается лицом к лицу с улыбчивым белобрысым пареньком, который ничем не на-

поминает угрюмых персонажей из криминальных фильмов. Они встречаются в «Макдоналдсе» у метро «Проспект Мира». Июнь подходит к концу, пыль притушила яркие краски листвы и церквушки рядом с «Макдоналдсом», тяжело, уверенно легла на ступеньки и перила подземного перехода, на шелестящие на ветру книги стихийного книжного рынка, растянувшегося до «Олимпийского».

Герман приехал заранее, выкурил полпачки сигарет, прислонившись к глухой стене «Макдоналдса» и предоставив пыли возможность обвить его коконом. И вот теперь, стоя с пареньком у кассы, Герман чувствует тяжесть пыли на ресницах. Паренек берет «Биг Мак», картошку фри с сырным соусом и среднюю кока-колу с бултыхающимся в шипучих темных водах льдом. Герман предлагает заплатить, но паренек отказывается. Сам Герман для приличия и некоей симметрии за столом заказывает кофе.

– Давай здесь, – говорит паренек, указывая на свободный столик для двоих в углу. – Проголодался ужасно.

Невысокий, энергичный, футболка с двумя огромными глазами, рюкзак за спиной. Похож на студента, одного из тех бегающих по городу из библиотеки в спортивный зал, а оттуда на подработку, увлеченных, упертых, четко идущих к поставленной цели. Усевшись, кивает Герману:

– Рассказывай.

Слушает внимательно, продолжая, впрочем, с аппетитом поедать «Биг Мак».

– Когда нужны документы?

– А обычно сколько их делают?

– По-разному. Месяца два-три. Можно управиться и за неделю, но будет дороже.

Июль, август, сентябрь. Ломакины уедут к зиме. Где-то в середине ноября, сказал управляющий яхт-клубом.

– Три месяца я подожду, – говорит Герман.

Паренек отпивает кока-колы, достает из рюкзака дешевую шариковую ручку и пишет на салфетке цифры. Поворачивает салфетку к Герману. Герман, конечно, ожидал, что сумма будет большая, но чтобы такая! Он сглатывает.

Паренек меж тем вскрывает коробочку с сырным соусом и, не спеша, принимается макать туда палочки картошки фри и отправлять их одну за другой в рот. Солнце проделывает щель в пространстве над сумрачным углом, где сидят Герман и паренек, протекает в нее и зависает над быстрыми ловкими руками паренька. Оказывается, на его коже полным-полно белых волосков. Они есть даже на пальцах – дочиста отмытых, похоже, даже оттертых с помощью жесткой губки.

– А подешевле нельзя? – глупо, сам понимая, что глупо, спрашивает Герман. Другие пункты плана тоже требуют денег, да и первое время нужно будет на что-то жить.

– Можно. Но тогда только бумажку – свидетельство. А если сделать все правильно, будут записи в роддоме, загсе, в паспорте твоего друга. – Паренек улыбается, и Герман вдруг

обнаруживает, что паренек-то совсем не паренек, ему лет под сорок, если не больше. – За эти деньги все будет по-настоящему. Твой друг ведь хочет по-настоящему?

Чтобы внести залог за документы, Герман продает квартиру. Хорошо, что стоит лето: пока подыскивает другую, ту, где будет жить с девочкой, он спит в машине. Свой двадцать восьмой день рождения также отмечает в машине. 18 июля. Пасмурно. Накрапывает дождь. Олег уехал с утра, а Ольга так и не вышла с девочкой на прогулку. Наверняка приканчивает припрятанные бутылочки коньяка или виски. Ольга ведет себя как человек, которого разъедает чувство вины. Герман надеется, что причина – в том, что она и Олег сделали с Евой в Севастополе. Но этими переживаниями она все равно не отделается.

Герман отмечает день рождения пакетом кефира и половинкой черного хлеба. Опустив стекло, протягивает на ладони угощение для подлетевших воробьев. Что ж, чем не гости. Птицы, склевав крошки и отлетев, снова возвращаются за добавкой. Снова и снова. Хлеб не успевает даже намокнуть. А вот в линиях ладони скапливается дождь и стекает меж пальцами.

5

– Тут полная разруха, – говорит в трубке риелтор, – окна на МКАД, но две комнаты и цена почти вписывается в ту немыслимо маленькую сумму, на которую вы рассчитываете, Герман.

В квартире на Северодвинской улице крепко пахнет солениями – бочковыми огурцами, солившимися с укропом и чесноком, скисшей квашеной капустой, маринованным чесноком. Эти запахи перебивают, но не совсем, запах кошек и тараканов. Ванна, унитаз и раковины цветут ржавчиной, линолеум с цветочками изрезан, отклеен по углам и загибается в конвульсиях, демонстрируя черное нутро. Обои в комнатах милосердно содраны, по-видимому, продавцом.

Потолок оклеен пожелтевшей бумагой. Продавец, чтобы пощадить клиентов, выбросил всю мебель, кроме стула годов тридцатых и нелепой, с претензией, тумбы под телевизор – впрочем, одной дверцы у той не хватает. Квартира занесена пылью с МКАД, точно палатка бедуинов в пустыне песком. На подоконнике лежат стопка книг и журналов, колода карт. А еще – похожая на температурный бред разноцветная постройка из лего: детали явно из разных наборов и подобраны на помойке. На кухне есть холодильник «ЗИЛ», покрытый изнутри плесенью. Герман включает его в розетку – тот неожиданно приветствует гулом мотора.

– Конечно, если бы продавец сделал ремонт, то продал бы гораздо дороже, – говорит риелтор Лариса Анатольевна, женщина лет пятидесяти, со слишком большими голубыми глазами. Вообще-то в этом возрасте глаза у женщин обычно уменьшаются, у нее же, похоже, всё наоборот. – Но, как я поняла, ему срочно нужны деньги.

– А кто тут жил? – зачем-то спрашивает Герман.

Женщина отряхивает пыль с белого пиджака и юбки. Судя по одежде и *Audi* новой модели, ее карьера на взлете.

– Мать с сыном. Соседи поговаривают, оба были не в своем уме. Об этом нюансе, – риелтор вздыхает, – я не могу вас не предупредить. Цена низкая еще и поэтому. Но на учете в ПНД, насколько я выяснила, они не состояли.

Герман и риелтор выходят на балкон. Здесь стоит мешок, из которого выпирают очертания пустых бутылок и еще каких-то предметов. Два пластмассовых кресла в пыли жмутся друг к другу: похоже, мать с сыном глядели тут на закаты над МКАД. Герман закуривает, предлагает риелтору. Та берет у него сигарету, выпускает колечко. Она ему нравится. Трудяга. Из тех, что жалеют людей. Возится с ним, в сущности, за копейки. Сейчас подставляет лицо летнему ветру, делая вид, что не торопит Германа с решением.

Двенадцатый этаж. Сверху МКАД напоминает работающий транспортер на огромном игрушечном заводе. Машинки всех мастей двигаются непрерывно. Герман обшаривает глазами пасмурный горизонт поверх МКАД и будто нарисо-

ванного за ним черно-зеленого леса в поисках предмета, который привязал, примирил бы его с местностью. Такой находится – труба ТЭЦ. Из нее идет дым – словно пыхает задумавшийся курильщик. Что ж, это не краснопресненская высотка и не телебашня, но все ж кое-что, за что можно уцепиться взглядом.

Выбора-то у Германа, собственно, и нет. Он тушит сигарету о заржавевшие облупившиеся перила балкона, покрытые пылью, как паштетом, такой же густой и липкой. Поворачивается к риелтору. Она выжидательно смотрит на него. В сером пасмурном воздухе голубой цвет ее больших глаз кажется особенно насыщенным. Герман кивает.

– Что ж, значит, по рукам, – обрадовавшись, говорит риелтор.

6

К началу октября все готово. Герман ждет подходящего случая. 5 октября Ольга заводит дочь в гастроном на углу дома на Ленинградском проспекте. Герман на расстоянии шагает за ними. Шанс, что Ольга его узнает, минимальный. Если она его и видела раньше, то в период, когда Герман был на несколько размеров толще. Она могла бы хорошенько разглядеть его четыре года назад на похоронах Евы, но его там не было.

Пока Ольга закупает новую батарею бутылочек разного цвета, девочка обскакивает магазин то на одной ноге, то на другой. Останавливается у витрины, изучает солдатский ряд прямоугольных пакетов молока и кефира, брикеты сыра с нежной палитрой на разрезах, пирамиды стаканчиков фруктовых йогуртов. Прокручивается вокруг себя в луче солнца – сиреневое пальто и такая же беретка на мгновение обесцвечиваются, а потом будто заново наливаются еще более насыщенным цветом.

Скачет дальше. Разглядывает колбасу, отливающую влажным жирным блеском оболочки, гирлянды сосисок, поблескивающие целлофановыми обертками, коробки с паштетами. Возле колбасной витрины Герман и стоит. Девочка, задрав голову, смотрит на него. Небольшие, серые, глубоко посаженные глаза. Прямой дружелюбный взгляд. Герман пря-

чет часть лица в горло шерстяного свитера. Пальто и свитер ввиду наступивших холодов он приобрел несколько дней назад в секонд-хенде. Пальто черное, короткое, со шлицей сзади. Все с тем же характерным запахом, которым пропахла уже вся одежда Германа.

В одном из карманов Герман сжимает мячик, который забрал у девочки летом. Он уже почти вытащил его, чтобы поманить дочку Ломакиных, но передумывает. Народу в магазине слишком мало, они оба на виду. Герман разжимает вспотевшую руку, и мячик остается в кармане. С трудом натягивает на лицо нечто вроде улыбки – девочка доверчиво улыбается в ответ. Она скачет дальше – к витрине с тортами, украшенными кремовыми розочками и листьями, ядовитыми персиками и кровавыми вишнями. За заляпанным ладонями стеклом красуются облитые глазурью эклеры и обсыпанные цукатами и шоколадной крошкой снежные вершины корзиночек. У кондитерской витрины Ольга и настигает дочь. Подбегает, тяжело стуча каблуками новеньких блестящих сапожек, крепко схватывает беглянку за руку, бутылочки в сумке от резких движений предательски звякают – Ольга смущенно оглядывается по сторонам, лицо вспыхивает.

Господи, как же Герман ненавидит всю эту Ольгу, эти ее чрезмерно изящные губы, туго стянутые во французский пучок блестящие волосы, белое пальто, новенькие сапожки. С каким наслаждением Герман бы прямо тут, в магазине, выпустил в нее одну за другой с десяток, с сотню пуль, изреше-

тил бы ее всю.

Несколько дней спустя он наблюдает за Ольгой и девочкой на станции «Сокол». Похоже, ехать они никуда не собираются. Ольга сидит у колонны на желтой скамейке, отполированной миллионами задниц жителей и гостей города, и подкрашивает бледные сухие губы. Девочка крутится рядом. Герман наблюдает за ней от соседней колонны. Он встал так, чтобы мать его не видела. Улучив момент, вытаскивает мячик из кармана пальто и показывает девочке. Та что-то удивленно-радостно говорит, но гул станции поглощает ее голос. Завороженно подбирается ближе, не сводя глаз с красно-синего мяча.

Приближается поезд, оглушительно и быстро читая речитатив. В наступившей через мгновение толчее Герману ничего не стоит сделать два-три шага, взять девочку за руку и раствориться с ней в толпе. Однако в последний момент он отступает. Пока идет к лестнице, взмокает так, будто за шиворот, в рукава, ботинки душевой лейкой залили теплую воду. Придя в себя на улице на осеннем ветру, он снова решительно спускается в метро, но Ольги и девочки там уже нет.

12 октября Герман следует по городу за черной *BMW* Ломакиных. Машина останавливается возле цирка на Цветном бульваре. Герман проезжает дальше, паркуется. Подойдя к цирку, наблюдает, как Ломакины поднимаются по лестни-

це к входным дверям, заходят внутрь. Герман покупает билет с рук – пятьсот рублей за место наверху. Раздевшись, заходит в зрительный зал. Амфитеатр, правая сторона, 4 ряд, 24 место. Усевшись, он тщательно, ряд за рядом, место за местом осматривает зрителей. Наконец находит Ломакиных внизу, на третьем ряду. Едва он их находит, как свет меркнет, зрительный зал исчезает, а арена высвечивается. Герман вытирает заслезившиеся от напряжения глаза и вспоминает, что не был в цирке с 1981 года. Тогда рядом с ним сидела Ева. Ведущий что-то кричит хорошо поставленным голосом. Представление начинается.

Измученный двухнедельной бессонницей, Герман временами забывается. Мир являет себя то в виде белых лошадей, скачущих по манежу и принимающих размеры от огромных, застилающих все пространство, до крошечных; то в виде клоуна; то блестящего платья и трусов эквилибристки на перекладине где-то в открытом космосе. Иногда Герман проваливается в прошлое, где семилетняя Ева что-то быстро говорит ему, смеется, горячо дышит карамельным дыханием. Он уже почти различает ее слова, как вдруг его снова выкидывают в реальность тычки и скрипы лошадки из воздушного шарика-колбаски. Этой лошадкой-шариком непрестанно орудует толстый мальчик лет четырех, сидящий на соседнем месте на коленях у дедушки. Иногда он толкает Германа не только скрипучей лошадкой, но и подошвами крепких ботиночек (когда приспичит полежать на коленях у деда). Сам

дед, свесив усы, не шевелится: приоткрыв рот, он смотрит представление. Если бы не тяжеловатое, с нотками жареного лука дыхание и слезы в уголках глаз, Герман усомнился бы в принадлежности деда к миру живых.

С другой стороны Германа зажимает необъятное тело женского рода – складки этого тела, обернутые в пропитанную пóтом шерстяную ткань, того гляди проползут через стул и вытеснят Германа. Гремучая смесь запаха пота и синтетического запаха сладкой ваты, облачко которой соседка держит в руках, также весьма способствует бодрости Германа. Иногда, чтобы защититься от этих запахов, он вытаскивает из кармана зеленую сосновую шишку, скоблит ее и вдыхает чистый смолистый аромат.

В антракте Герман покупает красный клоунский нос из поролона и рыжий парик, а еще – детскую маску тигренка. Складывает в сумку, которую носит на плече. Конечно, он понимает, что похитить девочку, когда с ней оба родителя, невозможно. Но, как и все последние дни, надеется на чудо.

Ломакины в буфете. Поставив перед собой в качестве реквизита стаканчик с кофе, Герман наблюдает за ними. Ольга – черное платье, шелковый шарф на шее, натянутые тяжелые песочные волосы. Пьет шампанское. Бокал уже почти пуст. Ярко накрашенные изящной резьбы губы поблескивают от капелек. Весела, излишне громко похохатывает, перекрывая шум и гул детских и взрослых голосов. Сколько, интересно,

маленьких бутылочек лежит в ее сумочке, покрытой дорогими крокодильими струпьями. Олег и девочка (сидит у него на коленях) потягивают лимонад. Олег (выше всех в буфете) перекусывает бутербродом с красной рыбой, девочка – розовое платьишко – борется с щедрыми разноцветными завитками пирожного. Олег изредка что-то шепчет ей, девочка хихикает и жмется теснее к отцу.

Утомившись сидеть, девочка спускается с коленей отца и принимается, не выпуская из рук пирожное, бегать туда-сюда вдоль стола, дотрагиваясь до руки то матери, то отца. Ольга что-то возбужденно, радостно рассказывает мужу. Тому явно не по душе, что жена напилась. Глубоко посаженные глаза Олега будто еще глубже ушли внутрь пористой кожи, лысая голова блестит все ярче. Когда девочка, запнувшись о непредусмотрительно вытянутую матерью ногу, падает, Олег тут же вскакивает и поднимает дочку. Ольга же продолжает сидеть и глупо улыбаться. Похоже, крепко надралась. Олег отряхивает платье девочки, поднимает на руки, утешает. На белых колготках ребенка – кляксы грязи, на розовом платье – оттиск пирожного.

От обиды и, возможно, боли у девочки дрожит подбородок, цыплячья грудка вздымается, готовится к плачу. Однако девочка еще не решила – плакать или нет, раздумывает, набирая на всякий случай воздуха в грудь. Ища вокруг обиженным взглядом то, что решит за нее – плакать или нет, она натыкается на Германа. Зрачки ее расширяются, она явно

узнает его. Герман стремительно подносит указательный палец к губам, схватывает бесхозную программку и, оглохнув от биения сердца, отворачивается, раскрывает программку и утыкается в нее.

Когда он снова решает повернуться, Ломакиных уже нет, на столе стоит пустой бокал, стаканы от лимонада (девочка свой не допила), валяется россыпь крошек на темной столешнице.

Все второе отделение Герман держит бинокль нацеленным на Ломакиных. Вдруг те решат уйти раньше?

Незадолго до окончания представления Герман выходит из зала, одевается и поджидает Ломакиных, наблюдая за той дверью, откуда они должны выйти. Но время идет, а те всё не появляются. Когда Герман заглядывает в опустевший зал, то обнаруживает, что Ломакиных там нет. Видимо, вышли в другой выход.

Герман обходит отсеки гардероба, уворачивается от локтей одевающихся, вздрагивает от криков родителей на детей. Не заметить огромного Олега сложно. Но его нигде нет. Внезапно Герман останавливается. Не верит своим глазам – девочка сидит одна на скамеечке, возле пирамиды из темного и белого пальто родителей и своего сиреневого сверху. Болтает ногами. Кляксы грязи на коленках белых колготок подсохли, но видны. Ни Олега, ни Ольги рядом нет. Есть только толпа школьников, полуодетых, носящихся друг за другом. Как потом оказалось, Олег встретил клиента яхт-клуба

и ненадолго отошел с ним. Ольга с дочкой получили пальто. При попытке одеть дочку перебравшей Ольге стало плохо, затошнило, и она, придерживая рот рукой, побежала в туалет, велев девочке никуда не уходить.

Герман, нацепив парик и клоунский нос, подходит к дочке Ломакиных, достает из кармана мячик. Школьники, гоняясь друг за другом, обегают их, оглушительно кричат, рычат по-львиному, хлопают себя по заднице, подражая обезьянам. Герман показывает мячик девочке, берет ее за руку.

– Пойдем, – говорит он, – я отдам тебе твой мячик.

Она послушно спускается со скамейки. По пути Герман отдает мячик. Девочка жадно схватывает его, нюхает и свободной ручкой радостно прижимает к себе.

– А еще у меня, смотри, что есть, – Герман показывает ей маску тигренка. – Хочешь померить?

Девочка кивает. Он, присев, надевает на нее маску, закрывающую глаза и нос. Разворачивает и вручает чупа-чупс, который таскает в кармане джинсов уже недели две. Быстро достает из сумки курточку, купленную в «Детском мире» (та оказывается великоватой), и шапочку. Надевает.

– Я тебе еще игрушки подарю. Хочешь?

Девочка, удерживая чупа-чупс во рту, кивает, доверчиво смотрит в его глаза через прорези тигриной маски. Избыток слюны липкой струйкой стекает по ее подбородку.

Герман берет девочку на руки. От нее пахнет карамелью и новой одеждой. Девочка тяжеловата, разгорячена, словно

печка. Кожей запястья Герман чувствует бороздки рифленых колготок. Все вышло невероятно просто. Прибавив шагу, в парике, с клоунским носом, все еще не веря в случившееся, он вместе с толпой покидает цирк.

7

Декабрьским утром 1980 года с Германом в первый раз случилось то, что позднее он стал называть эхом приближающегося события. Повзрослев, он изучил это явление подробнее. За несколько часов или дней до судьбоносного события освещение менялось, словно включался дополнительный источник мощного света. Память жадно схватывала детали. Независимо от того, с каким знаком – плюсом или минусом – приближалось событие, предшествующий ему период отличался безмятежностью, замедлением времени и усиленным ощущением счастья.

Герман допивал какао. Ева, в толстом красном свитере с белыми оленями, забралась на стул, оперлась коленями о стертое сиденье (на ступню шерстяного носка приклеился кусочек фольги от шоколада) и расплющила нос о стекло: по карнизу бродил голубь. Ева постучала птице пальчиком, прислонила оторванный листок календаря к стеклу, прижала ладошкой. Заинтересовавшись, голубь клюнул потустороннюю Евину ладошку. Его клюв сорвался, и сквозь двойные рамы Герман услышал надсадный скрежет. Ева засмеялась. Голубь тряхнул отполированной головой, его блестящий глаз сердито уставился сквозь стекло на Германа. На резком свету глаз казался живой пуговицей. Прозрачно-карамельной, с черным зернышком. Глаз все смотрел и смотрел. Герман да-

же забыл сглотнуть какао и закашлялся. Потом птице наконец надоело, она взлетела, зависла на секунду за окном, замахала крыльями и обиженно улетела, сверкнув в морозном мареве сизо-зеленоватыми оттенками оперенья.

– Ну что, ребятки, – сказал Андрей, входя с двумя парами прогретых валенок, – собирайтесь, пошли за елкой в лес.

Ева захлопала в ладоши, слезла со стула и, подбежав к Андрею, повисла у него на шее. Сердце Германа застучало быстро-быстро. За елкой! В лес! Герман принялся наскоро заглатывать какао, вглядываясь в зеленую полоску леса в окне. Он находился в полутора километрах от гарнизона, но Герман увидел его так подробно, будто стоял рядом. Сосны поскрипывали, качались, стряхивали снег с верхушек. Иголочки в ряд, хочешь – пересчитывай. Пятна солнца дрожат на шершавой промерзлой кирпичной коре. Протяни руку – и почувствуешь ледяной ожог. Герману привиделась даже тень, метнувшаяся по снегу. Лисица?

Герман и Ева одевались в своей комнате. Кроме раскладушек, покрытых серыми солдатскими одеялами, старого шкафа и настенных часов со сломанной минутной стрелкой, в комнате ничего больше не было. Нехитрое детское барахлишко – тетрадки, цветные карандаши, камешки, засохших жуков, этикетки от шоколадок – Герман и Ева прятали в шкафу под не простиранными Андреем простынями. Еще у Евы были две книги сказок и – предмет жестокой зависти Германа – заводной медвежонок с бархатистой шкуркой и

бочонком с надписью «Мед». Медвежонок был небольшой. Он заводился золотистым ключиком и рычал. Когда отец был дома, медведь жил под подушкой у Евы, а книги – под полосатым желтоватым матрасом. Эти вещи остались у Евы с той поры, когда они жили с матерью.

Вбежав в комнату, Ева первым делом вытащила медведя из-под подушки, поставила на подоконник и завела. Медведь радостно заревел. Герман, уже поняв, угадав, что в этот день все складывается как по волшебству, протянул руку и хрипло велел: дай. Ева, всегда ревностно оберегавшая свое сокровище, великодушно кивнула. Боясь, что сестра передумает, Герман схватил медвежонка. Забыв дышать, провел по шелковистой, бархатной шкурке, осторожно ощупал все сочленения, твердый покатый лоб, кожаный нос медведя. Прижал к щеке, захихикал, засмеялся.

Андрей меж тем уже разложил вещи на раскладушке и поторапливал:

– Давай, Герман, садись, будем рейтузы натягивать. – Герману было пять с половиной, но Андрей все еще помогал ему одеваться.

– А елку мы куда поставим? Сюда? – сыпала вопросами Ева, надевая валенки. – А чем мы ее будем украшать? Огоньки где возьмем? У нас с мамой всегда была огромная елка. И много игрушек. Моя любимая – девочка в красной шапочке. Она прищипывалась на ветку. А мамина любимая – снеговик с ведерком. Его Герман разбил.

Герман не помнил ничего из того, что говорила Ева, ни снеговика, ни саму маму. А рассказам Евы он не очень-то доверял: знал уже, что Ева врушка.

На колготки телесного цвета и шерстяные носки Андрей, присев на корточки, натянул зеленые рейтузы, а на них – синие шаровары с шершавой внутренностью, похожей на нутро грибной шляпки. Вдоль шаровар шел шов, полоска-стрелка. Прижимая одной рукой к груди медведя, другой Герман принялся изо всех сил оттягивать стрелку от коленок, точно она смертельно угрожала им. Дальше шли колючие черные валенки, подшитые, с кожаной гладкой вставкой на пятках. Андрей засунул ноги Германа в теплые валенки, шаровары спустил сверху, зацепил лямками подошвы. Шаровары натянулись, и стрелка отступила от коленок.

Неизвестно, откуда бралась вся та одежда. Она никогда не была новой. Герман помнил, как Андрей после обеда долго сидел в кухне у окна с ворохом одежды и подшивал, укалываясь иголкой и тихо чертыхаясь. Герман помнил его крупные солдатские стежки на майке, колготках, трусах, на кармашке байковой, в красно-синюю клеточку рубашки. И еще на Евином свитере: от Андреевых стежков голова одного из оленей сморщилась, приподнялась, точно олень, один из стаи, учуял что-то и встревожился.

Сначала – платок, потом – тонкая шерстяная шапка. Сверху – меховая круглая шапка-шлем, рыжая, в темных пятнах. Напряженный взгляд голубых глаз Андрея, когда он застеги-

вает шапку. Легкий дружеский толчок в живот, вызывающий у Германа смех. Варежки на резинке прыгают от радости. Клетчатое пальто с капюшоном. Кожаный солдатский потертый ремень, чтобы не поддувало. Меховой воротник поднят и щекочет ворсинками шею и щеки: Андрей туго завязывает сзади синий шарф. Дышать – никак, но ради елки Герман готов вытерпеть все. Ева уже одета, ждет. На ней черная шубка, заячья шапка с помпоном и точно такой же, как у Германа, синий шарф, так же туго, жарко завязанный узлом под воротником сзади.

День морозный, русский, зимний. С тем самым нежно-голубым финифтевым небом, с удивлением проступающим сквозь заснеженные ветви деревьев. С мягко подоткнутыми снегом домами. С зависшими радужными снежинками в стекловидном воздухе. С пятнами ледяного солнца на деревьях и качелях.

Андрей вынес санки с изморозью на алюминиевой спинке. Ева, стянув варежку, тут же нацарапала на изморози свое имя.

В лес вела накатанная, скользкая, жирно отливающая на солнце дорога. По ней частенько возили солдат в грузовиках. Герман и Ева положили на санки топор, тот засверкал наточенным лезвием. Ева, потянув за веревочку, помчалась вперед, Герман едва успел ухватиться за спинку санок. Он бежал сзади, держась и одновременно толкая санки вперед.

Снег поскрипывал, повизгивал под полозьями. Одной перекладины на санках не было, и сквозь щербинку Герману было видно, как бежит, льется струйками под ногами снежное молоко. По обе стороны от дороги застыли в складках снега белые поля. Герман обернулся: Андрей – серая шинель, шапка-ушанка со звездой, валенки – чуть отстал, шагал широко, курил. Дымок от сигареты весело струился вверх, в невозможно голубое небо.

Когда Герман и Ева с визгом вбежали в лес, вековые деревья принялись сурово ощупывать их, проверять, идентифицировать. Оробев и притихнув, Ева и Герман прижались друг к другу. Когда появился Андрей (края шинели – в снежной пыли, шапка со звездой заиндевела), тени набросились и на него, но тут же узнали, стали ластиться, ласкать лицо, плечи, покрасневшие руки (Андрей никогда не носил рукавиц). Щелкнув по-дружески детей по носу, солдат усадил Еву у спинки санок, Германа перед ней. Дернул за веревку, и санки тяжело, со скрипом двинулись с места, но быстро набрали скорость. Андрей свернул с дороги на раскатанную коньковым солдатским шагом лыжню.

Андрей запел песню «У солдата выходной». Ева с Германом подхватили. Они уже знали весь солдатский репертуар. И «Артиллеристов», и «Катюшу», и «Смуглянку-молдаванку», и «Марусю», и еще много чего. Продолжая орать во все горло, Ева и Герман растопыренными руками и ногами задевали заснеженные кусты, мимо которых проезжали, и повиз-

гивали от удовольствия, когда снег сыпался им в лицо. День неумолимо шел вперед. Какой-то другой, будущий Герман делал знаки, пытался сказать Герману-мальчику, что вокруг происходит нечто большее, чем то, что он видит, о чем-то просил, предупреждал. Герман прислушивался, слышал намеки, но не понимал их.

Елку увидала Ева:

– Вон, вон, Андрей, смотри, вон она.

Елка стояла метрах в тридцати от лыжни, в сугробах меж старых уставших берез. И сейчас Герман хорошо помнит ее. С ровными пышными боками, широким подолом в снежных оборках, который она, как молодая цыганка, раскрыла веером на голубоватом снегу. С прямой, как стрела, верхушкой, обсыпанной снежным сахаром. Со все теми же пятнами солнца вместо игрушек. И еще – с темными веснушками прошлогодних листьев с соседок-берез.

Андрей остановился. Ева выбралась из санок и помчалась к елке, но тут же увязла в снегу. Андрей вытащил Еву из снега, поднял, прижал правой рукой к шинели, свободной рукой схватил топор:

– Герман, побудешь здесь? – Герман кивнул. – Мы мигом, – пообещал Андрей и пошел с Евой на руках меж тесных чешуйчатых стволов, глубоко проваливаясь в снегу.

Добравшись до елки, Ева с Андреем принялись осматривать ее.

– Ну что, Герман, – крикнул Андрей, обернувшись, – сру-

баем?

Герман радостно крикнул в ответ:

– Субаем!

Стукнул топорик. Елка дрогнула и от неожиданности осыпала снежную броню. Ева издала победный клич. Андрей засмеялся. Его смех эхом прокатился по лесу. В нетерпении Герман принялся катать по лыжне санки. С каждым разом он увеличивал дистанцию. Стук топорика отдавался гулким веселым звоном, отталкивался от стволов и убегал далеко в лес. Голоса Евы и Андрея звучали необычно высоко и как будто по отдельности.

За грудой старого валежника лыжня поворачивала. Герман решил посмотреть, что там. Заведя воображаемый мотор – *р-р-р,* он свернул за валежник и, держась заиндевевшими варежками за спинку санок, помчался вперед. Через несколько метров уткнулся в стену из сосен. Они стояли тесно, будто хотели обняться. За соснами уходил вниз овраг. Солдатская лыжня огибала его поверху. Герман поставил санки на край оврага, сел, взял веревку в руки и, оттолкнувшись валенками, направил санки по склону. Не проехав и метра, санки застряли. Герман повалился на снег и покатился вниз боком, как они часто делали с Евой на горке рядом с домом. Снег тут же забил нос, рот и глаза, сильнее и веселее застучало сердце, защипало щеки и запястья.

На дне оврага Герман раскинул руки и ноги. Прислушался: стук топора замолк. Поспешно поднялся. Правая нога

удивительно легко, глубоко ушла вниз, а дальше… А дальше была только боль. Боль, для которой и теперь, спустя годы, он не может подобрать слов. Ева рассказывала, что крик его был настолько чужим, жутким, что она и Андрей не сразу догадались, кто это кричит. Солнце приблизилось к Герману, горячо задышало и принялось жечь его тело. Предметы потеряли формы, мир задрожал и рассыпался на атомы, будто его никогда и не существовало.

Кто поставил тот капкан так близко к гарнизону, так и не выяснили. Капкан был самодельный. Его сконструировали с особой жестокостью. Острые стальные зубцы как по маслу прошли сквозь валенок Германа и в один миг раздробили детские кости.

8

Больше двух с половиной месяцев Герман провел в больнице. Когда он оказался дома с собранной кое-как из осколков ступней, костылями, выменянными Андреем у санитара на наручные часы, отец повел себя так, будто ничего не произошло. Правда, отменил совместные завтраки, а значит, и пытки вареным яйцом.

А в мае 1981 года отец посадил Германа и Еву с Андреем на поезд. На перроне крепко обнял и поцеловал Еву. Посмотрел на Германа, опиравшегося на костыли. Сжал его плечо так, что Герман едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Наклонился и коснулся лба мальчика мокрыми холодными, несмотря на жаркий день, губами. Герман в поезде еще долго ощущал ледяной ожог этого поцелуя.

Герман не помнит, сколько они ехали. Несколько раз перекусывали – чай, разумеется, в подстаканниках, с дребезжащей ложкой, бутерброды. Вареная картошка с зеленым луком, разложенная на газете «Правда». Ева уже успела подрисовать усы немолодому мужчине с густыми черными бровями (одна выше другой), на пиджаке – висячие звездочки орденов, пробовала прочитать заголовок: *«Ву… вру… вручен… е»*. Андрей научил Германа и Еву макать лук в соль и прикусывать с картошкой. Герману понравилось. А Ева молотила все, что успевала захватить пухлыми ручками, и расспра-

шивала Андрея о Москве. Тот каждый раз отвечал ей, что никогда там не был, но спустя некоторое время Ева снова спрашивала.

После еды Герман смотрел в окно, изумляясь тому, что в мире так много людей, домов и деревьев. Андрей с Евой играли в карты. Когда Андрей, увлекшись, забывал ей уступать, Ева, покраснев от возмущения, громко требовала реванша. Устав от игр, скакала, носилась по узкому коридорчику плацкартного вагона. Раз вернулась с большой шоколадкой. Шоколадка подтаяла на весеннем солнце, поджаривавшем вагон. Когда Ева развернула обертку, шоколад туго потек ей на пальцы. Через минуту руки и лицо Евы были в шоколаде, а спустя еще минуты три от шоколадки ничего не осталось (Герман и Андрей отказались от мятой дольки, которую Ева милостиво протянула им по очереди). Потом Ева спала на верхней полке. Ее волосы свешивались и, потеряв темный цвет на солнце, долго – нет, вечно – раскачивались вместе с вагоном.

Андрей тоже поспал, на нижней полке, напротив Германа. Положив руку под голову, выставив рыжую подмышку. От жары его лицо и грудь над вырезом майки покраснели, вспотели, но он не замечал и спал долго, крепко, сладко. А вечером, выбежав на стоянке, купил пирогов и успел поймать в кустах сирени бронзовку с зеленой радужной спинкой и тяжелыми надкрыльями. В вагоне Андрей высыпал спички из коробка и положил туда жука. Герман, дрожа от воз-

буждения, взял коробку и прислонил к уху: лапки жука тихо скребли по картону – скраб, ск-краб-б, ск-краб-б. Ева тоже послушала, но почти тут же отдала коробку назад: насекомых она не любила. А Герман весь остаток дня то приоткрывал крышку коробка, глядел на зеленую спинку жука, текущую металлом, то снова задвигал и слушал шорохи.

Ночью Герман не мог уснуть. Выбравшись из пут простыни, встал на колени, оперся локтями о столик и уставился в окно. Проносящиеся леса, еще несколько часов назад струившиеся нежно-зеленой листвой, радостно махавшие солнечными ветвями вслед поезду, сделались черными, кружевными, превратились в цельное темное недоброе существо, которое раскачивалось, шумело и угрожало мчащемуся поезду. Иногда воздушными привидениями возникали цветущие вишни и яблони, они белели, пенились, тянулись прочь из лап леса-оборотня. Между лесами, над равнинами, небо вспыхивало, тлело на горизонте красными и зеленоватыми полосами. Эти светлые промежутки быстро заканчивались, поезд снова нырял в темный лес, деревья в котором, точно воины, тесно смыкали ряды, намертво переплетались ветвями.

Жук в коробке спал. Герман тихонько постучал по крышке, поскреб ногтями. Сначала жук не отвечал, а потом зашуршал, задвигал лапками.

– Почему не спишь? – раздался вдруг шепот Андрея.

– Не знаю.

Андрей сел, потянулся, громко зевнул. Перебрался к Герману, посадил его на колени, обнял. Герман прижался к горячей со сна груди Андрея.

– Покурить охота, – сказал Андрей. – Пойдем покурим.

– Пойдем, – согласился Герман.

Андрей отнес мальчика в тамбур. Там, продолжая держать Германа на руках, закурил, протянул сигарету Герману:

– На, затянись.

Герман ухватил сигарету зубами, попытался дунуть в нее, потом вдохнул, глотнул едкого горького дыма и закашлялся так, что выступили слезы. Андрей засмеялся, забрал сигарету. Докурил.

– Ну вот мы с тобой и покурили, Герман. А теперь пошли спать.

У бабушки была замысловатая прическа, очки на пол-лица, атласный халат и серебряные кольца на крупных руках. Она держала письмо и медленно читала. По мере чтения кресло, в котором она сидела, расставив крупные и белые, точно у снеговика, ноги, принялось поскрипывать, выдавая возмущение. Потом от возмущения у нее начал подрагивать крупный нос, потом уголки рта, потом гневно задрожала седая прическа, а затем и сережки закачались, вспыхнули. Лицо и грудь бабушки налились краснотой, будто кто-то облил ее малиновой краской.

Герман, Ева и Андрей сидели напротив на диване и не ше-

велились. Брат и сестра держались за руки. Герман чувствовал, как раскалилась, горячо вспотела ладошка Евы, его же превратилась в тающую ледышку. Комната двигалась (ночью Герман так и не уснул), проплыли шкаф с книгами, этажерка, заставленная фигурками; картины с древним городом съехали со стены и покачивались в воздухе. Герман часто заморгал, и предметы вернулись на места. Пока бабушка читала, луч на полу подрос и теперь лизал заштопанный носок Германа, обтягивающий искривленную травмой правую ступню.

Часы на столике с танцующими ножками ожили, в часах раскрылась дверца, и оттуда весело выкатилось гнездо с четырьмя серебристыми птенцами. Раздалась громкая механическая трель. Пять часов вечера. Бабушка подняла голову, сложила письмо, сняла очки и уставилась на Германа и Еву. Смотрела минуту или две, поджав тонкие губы. Потом тяжело поднялась. Роста она была внушительного, выше Андрея на голову. Подошла, наклонилась. Пахнуло сладковатыми духами и запахом старости. На брата и сестру смотрели маленькие темные глаза, зрачки стремительно двигались то вправо, то влево.

– Идите за мной, – сказала бабушка хрипловатым голосом, низким, будто медвежонковый рев. – А ты, солдат, посиди пока.

Комната, куда бабушка привела детей, была меньше предыдущей. В ней стояли диван, круглый стол с лампой, шкаф. В окне виднелся удивительный дом с длинным шпи-

лем и башенками. Бабушка велела вести себя тихо, задержалась взглядом на лице Евы, а потом исчезла в проеме, затворив дверь.

Герман сложил костыли и устроился в уголке дивана. От усталости глаза слипались. Он вытащил из кармана шорт спичечную коробку. Приоткрыл, поглядел на жесткую зеленую спинку друга, задвинул. Приставил к уху, лапки успокаивающе зашуршали.

– Ева, что едят жуки?

Ева пожала плечами. Она стояла у двери и прислушивалась. Голоса Андрея и бабушки сливались, они что-то горячо обсуждали. Ева тихо приоткрыла дверь и высунула голову.

Герман вцепился пальцами в спичечную коробку, пытаясь не заснуть. Ева повернулась к Герману:

– Бабушка говорит, что ей семьдесят лет и у нее нет времени растить детей.

Снова высунула голову, опять повернулась к брату:

– А Андрей ей говорит, что, если она не возьмет нас, у него приказ – отвести детей в детский дом.

Герман зажмурил глаза, попытавшись различить слова, которые произносили бабушка и Андрей, но слова только гудели, раздувались, обрастали дополнительными звуками. Воспользовавшись промашкой Германа, сон ласково подышал в его веки и быстро, ловко накрыл своей темной сетью.

9

Ариша, а по новым документам она стала Ариной Германовной, сидит на краешке дивана и молча глядит на Германа. Он прижимается лопатками к стене. В комнате только диван, который Герман сохранил из проданной квартиры. Герман вытаскивает из кармана пальто пачку сигарет, закуривает. Сама по себе девочка его не интересует. Он может обвинить ее лишь в том, что черты ее лица схожи с чертами отца и матери, убийц Евы.

– Теперь ты будешь здесь жить.

Девочка качает ногой. Болотно-зеленая куртка, купленная в «Детском мире», сидит мешком. Из кармашка выпирает мячик.

– Будешь звать меня папой.

Герман знает, что с детьми лучше разговаривать, присев на корточки, но решает не утруждаться. Девочка не плачет, не визжит – это уже кое-что. Ему хочется быть сейчас в цирке, смотреть, как мечутся Олег и Ольга в поисках дочери. Как разговаривают со служащими, как те заглядывают в потайные уголки, разводят руками. Как, все еще не веря, что это происходит с ними, Ломакины вызывают милицию, рассказывают приехавшим на вызов сонно-отрешенным сотрудникам, что произошло, описывают девочку. У Олега наверняка есть в бумажнике фотография дочери.

Ариша стучит ботиночками о диван, и на давно не мытый пол падают ошметки сухой грязи, отформатированной рифленой подошвой. Ерзает на стертом велюре, опасливо поглядывая на Германа.

За окном с места, где стоит Герман, видно только небо. Слышно, как на одной ноте шумит МКАД.

– Ты слышишь меня? – Герман выпускает колечко дыма. – Тебя теперь зовут Ариша. Я – твой папа.

Девочка в ответ старательно чешет переносицу. Спускается с дивана и, поглядывая на Германа, обходит комнату. На подоконнике лежит игрушечная овца с глуповатой мордашкой, купленная Германом в том же «Детском мире» по акции почти задаром. Ариша тянет овцу за ногу. Нюхает резиновое лицо, прижимает игрушку к себе и что-то шепотом говорит. Прихватывает еще пакет с деталями лего, теми самыми, оставшимися от прежних жильцов, разнокалиберными, подобранными явно на помойке. Герман сложил лего в пакет накануне и перенес в комнату девочки. Ариша усаживается на пол. Мячик выдавливается из кармана и укатывается в угол. Положив овцу на колени, Ариша высыпает с грохотом детали из пакета. Выбирает несколько и принимается строить из них что-то. Поднимает взгляд на Германа.

– А… – говорит она.

– Что?

– …ок, – завершает слово Ариша.

За́мок? Герман с удивлением глядит на девочку. Неужели

возмездие уже отметило убийц?

То, что девочка не говорит, многое упрощает. Герман поднимается, идет на кухню. Тушит сигарету и выбрасывает в мусорное ведро. Достает из холодильника коробку молока с трубочкой, яблоко, булку. Берет из шкафчика салфетку. Приносит все это в комнату и раскладывает на салфетке на полу рядом с Аришей. Посчитав, что сделал для этого ребенка более чем достаточно, отправляется к себе в комнату. Здесь есть не только диван, но еще стол, на котором стоит переносной телевизор с антенной наверху и пузатый компьютер с пятнами на экране. Герман приобрел их с рук по дешевке. Он включает телевизор. Отыскивает городской канал. Теперь остается только ждать.

10

В комнате у бабушки висел портрет. Бабушка уверяла, что ее. Герман не верил: женщина на портрете была молода и больше походила на Еву, чем на бабушку. Женщина стояла вполоборота у зеркала и поправляла прическу. Темные волосы были завиты и убраны, на шее – бусы из жемчуга, платье с отворотом, странное, нездешнее. Из картинного зеркала женщина всматривалась в себя и чуть косила на Германа. Чем дольше он смотрел на нее, тем больше находил сходства с Евой, и в конце концов уверовал в то, что это портрет будущей Евы.

Фамильные черты нагло выпирали в Еве.

– С Евой все ясно, – говорила бабушка, – наша, Морозовская. И характер наш. Упрямый, поперешный. *А вот ты, дружок, в кого?*

Как-то осенью в выходной после обеда бабушка отнесла Германа на руках на балкон. Усадила в старое деревянное кресло-качалку на мягкую подушку с вышитыми и уже почти стертыми временем ягодами и листьями. Приподняв за подбородок, подставила его лицо под лучи солнца 1981 года. Отошла, оперлась крупными локтями о перила балкона. Напряженно уставилась. Рядом с креслом стоял столик, и Герман боковым зрением видел, как сверкала на нем в осеннем свете серебряная пепельница с дымящейся сигаретой, а

в пузатой рюмке подрагивала от холода тягучая темная жидкость. От нее шел сладкий и резкий дух. Ликер. Бабушка обожала этот напиток и всегда держала в шкафу с десяток бутылок.

Рядом с пепельницей и рюмкой лежала толстая книга в синей искусственной коже. Семейный альбом. Все последние дни бабушка не расставалась с ним. Сейчас она протянула руку, перстень на ее пальце словил осеннего зайчика, тут же убежавшего по переносице Германа в никуда. Бабушка взяла альбом, раскрыла и принялась сверять черты Германа с морозовскими лицами всех калибров. Занималась она этим долго, Герман успел утомиться. Время от времени бабушка вытаскивала из силков фотографию, приставляла сбоку к лицу Германа (от карточки неприятно тянуло запахом старой бумаги, пыли и табака):

– Посмотри-ка вправо, Герман, нет, нет, не туда, на шпиль.

И Герман послушно глядел на шпиль краснопресненской высотки, возвышавшийся над окружающими домами.

Раз рука бабушки дрогнула, задержалась у лица Германа с очередной карточкой. Хриплый тягучий медвежонковый голос повеселел. *Ну-ка, ну-ка…* Взгляд подернулся лаской. Герман откликнулся, подался вперед, задрожал от прилива подступающего счастья. В крови загудели тысячи пчел, что-то сладко заныло в сердце, коленях, пятках. Древний род горячо задышал в уши, разомкнул ряды, раскрыл объятия – по-

веяло спокойствием, уверенностью… Но тут бабушка разочарованно покачала головой, убрала фотографию, сделала затяжку и захлопнула альбом. Легкое облачко пыли взвилось в небо…

Попыток обнаружить морозовские черты в Германе бабушка все же не оставляла. Намыливая в ванной, изучала все его сочленения, выступающие кости, уши, пальцы, пятки, затылок. Взмокшая, со стекающими с красного крупного носа каплями, в кляксах пены на халате, она натирала Германа мочалкой (древесного цвета, с макаронными нитями, которые, выбившись из-под ее пальцев, весело щекотали кожу). Устав, присаживалась на край ванной и смотрела, как Герман играет пластмассовым Чебурашкой в воде. Всматривалась, вщуривалась, пытаясь уловить знакомый жест, взгляд. Как-то разбудила Германа ночью. Радостно напевая, посветила в лицо фонариком. От желтого ослепляющего света у Германа защипало глаза. Спустя минуту фонарик погас, бабушка погрустнела, поправила ему одеяло и понуро, шаркая тапочками, ушла.

Бабушка не любила неясности. Однако тут столкнулась с неодолимым препятствием.

– Остается только ждать, – повторяла она время от времени. – Ждать, когда вырастешь. Голос, или фигура, или походка скажут наверняка. Только дождусь ли я?

Однажды Герман подслушал ее телефонный разговор. Проснулся ночью в туалет, потому как с вечера наелся арбу-

за – сахарного, тающего красным мороженым на языке (такого вкусного, что Герман сгрыз даже травянистую зеленую мякоть у жесткой гладкой корки). Он опустился на пол на колени: без костылей, ползком, было быстрее и тише. Когда полз обратно, задержался у комнаты бабушки. Она с кем-то разговаривала этим своим медвежонковым голосом. Герман постепенно приручал этот голос внутри себя. Он заглянул в щель: комната была полна дыма, бабушка, в атласной ночной рубашке, похожей на свадебное платье, в бигуди, огромными толстыми гусеницами облепивших голову, сидела в кресле. На подоле белел телефон. В одной руке – трубка, в другой – сигарета. Герман заткнул нос и задышал ртом, чтобы не закашляться и не выдать себя.

– Ну не выкину же я их на улицу? Перестань, Веро́ника. Уж тебе-то известно, что такое детдом. Мать? Да я понятия не имею, кто она… А вот так, ни сном ни духом. Ты же его знаешь, моего сыночка… Молчком да тишком. С его характером не стоило и пытаться заводить семью… Ну конечно, искала, с лета ищу. Да как-как – всё без толку, вот как. Я даже не знаю, как ее зовут. В свидетельстве о рождении у них вместо матери прочерк… Бывает, не бывает – а вот есть! А вот так, представь себе. Еще и с документами мне морока… Но что делать-то? Побудут уж теперь, пока не пристрою… Знаешь, иногда мне кажется, что он специально. Мне в отместку. Он же все упрекал меня – дескать, все его детство прогуляла, жопой прокрутила, сначала соседи вырастили да

ты, Веро́ника, а потом военные в училище. Во как, во какой, ты подумай… Дети? Да ничего они не помнят… Ну какие, если ими солдат занимался? Дикие, конечно… Ну, ты как всегда… Да если бы и так – все равно не выкину же я их?.. Ладно, ладно… Девочка-то точно наша, зайдешь, увидишь, в обморок упадешь, насколько похожа… Он-то? – Бабушка помолчала, выдохнула дым, тяжело вздохнула. – Мальчишка, видать, в мать… Уж сколько ищу, ничего нашего… Да, я знаю, знаю, что наша порода всегда перебивает, но, может, в этот раз дала сбой?

Герман прополз мимо своей комнаты в комнату сестры. Полупроснувшись, Ева подвинулась к стенке, давая брату место. Они обнялись, Герман уткнулся носом в мягкую пижаму сестры, поддался щекотке упавших на лицо ее темных растрепавшихся волос. Где-то у ее шеи, у ключиц запах земляничного мыла отступил, и Герман вдохнул настоящий запах Евы, родной, успокаивающий. Так до конца и не проснувшись, Ева привычно погладила брата по голове, спине и снова задышала ровно и редко. Герман тоже вскоре уснул.

Раздумывая, как поступить с материализовавшимися неизвестно с какой планеты внуками, или, может, ожидая, пока разовьются к ним какие-то чувства, бабушка делала для них то, что и сама любила. А любила она вкусно покушать, хорошо одеться, порадоваться разным вещичкам. У Герма-

на появились машинки, коробка солдатиков. У Евы завелись куклы. Одна из них, немецкая, с пышными волосами и четко прорезанными чертами лица, нравилась и Герману. Точнее, запах ее волос – будто всегда надушенных сладковато-тревожными духами. Купила им бабушка и настольный хоккей. В него они с Евой играли на полу, чтобы Герману было удобнее.

Вообще-то Герман ненавидел игры. Посмотреть диафильм или послушать сказку на пластинке – вот что он полюбил с первых же минут, как проектор и проигрыватель появились у них с сестрой. Но Ева настаивала на играх, требовала, а то и подкупала. И Герман уступал. Двигал картонными плоскими хоккеистами, всегда слишком медленными и неловкими, мучительно сравнивал белые точки на гладких шоколадках домино. С цифрами на бочонках лото было еще хуже. Он умел считать только до десяти, а Ева показывала донышки бочонков слишком быстро, и он не успевал сравнить их вид с теми, что на карточке. Герману нравился только сам мешочек, в нем бочонки весело перекатывались, постукивали. Да, были еще настольные игры из журнала «Мурзилка». Красная фишка всегда была за Евой.

Разумеется, Ева всегда и во всем выигрывала. Была только одна игра, победа в которой оставалась за Германом, – прятки. Передвигаясь ползком по квартире, Герман хорошо изучил все ее укромные места, где нетерпеливая Ева его бы не заметила. Всего в квартире было четыре комнаты, а еще

чулан, где Герман и любил прятаться.

В чулане жили старые пальто с меховыми воротниками и шляпы бабушки. От них тянуло мышами и нафталином, нетающие ледышки которого были засунуты в карманы. На полке стояли банки с вареньем и соленьями, висели связки лука и пучки трав, расточая душноватые летние запахи с примесью гнильцы. В потемневшем деревянном ящике пылились и выпускали остатки сладковатых паров пустые бутылки из-под ликера с яркими этикетками. В сентябре 1981-го, как раз когда Ева пошла в школу, в чулане ненадолго поселилась и скрипучая корзина с терпко пахнущей антоновкой.

Закрыв дверь чулана и спрятавшись, Герман сперва дрожал от возбуждения. Дрожал так сильно, что приходилось с силой прижимать колени к полу. Потом волнение уходило, оставалась только радость от предвкушения победы в игре. Он с наслаждением прислушивался, как Ева ищет его, хлопает дверьми, двигает стульями, зовет. Постепенно звуки в квартире отдалялись, квартира за чуланом отъезжала, уменьшалась, исчезала. Свет в щели между дверью и полом усиливался, и Герман начинал различать предметы. Его охватывало ощущение, что вокруг происходит что-то еще, кроме того, что он видит. Предметы в чулане наделялись волшебным смыслом и предъявляли Герману убедительное доказательство того, что независимо от жизни в квартире бабушки он проживает еще и другую параллельную жизнь – и

она-то и есть настоящая. И все в этой настоящей жизни идет правильно, так, как надо.

Чуланную тайну он берег даже от Евы. И сейчас, сквозь время, он видит, как Ева распахивает дверь в его убежище. Ее бант на сквозном свету переливается радужно-зелеными крыльями. Вечно тесное плотному тельцу зеленое платье поднялось к подмышкам, так что видны трусики в цветочек и толстые ляжки в пунктирах знакомых царапин. Ева замирает на пороге. На ее раскрасневшемся лице – несвойственная растерянность, испуг. Большие темные глаза увеличиваются, как в мультиках.

– Герман, ты тут? – вытянув шею, Ева боязливо заглядывает внутрь. Она никогда одна не переступает порога чулана. Герман слышит ее прерывистое шумное дыхание. Еще несколько секунд Ева вглядывается в сумрак чулана, потом резко захлопывает дверь. Герман слышит, как она в спешке убегает, тяжеловато топая ногами и громко крича на ходу: – Всё, Герман, мне надоело играть.

Это означало: ты победил.

11

Каждое воскресенье бабушка брала Германа и Еву с собой в оперу, которую обожала. Наряжала, душила духами. Еве делала прическу, а тонкие, невнятного цвета волосы Германа зачесывала и брызгала сладким липким лаком. В оба кармана пиджака Германа засовывала по надушенному платку. Мучения начинались сразу, с фойе. Прыгая на костылях, Герман чувствовал на себе жалостливо-презрительные взгляды разряженных людей, краснел и боялся упасть. В туалете было скользко и неудобно. На лестнице бабушка брала его костыли в левую руку, а правой, дряблой и страшно белой на ярком свету, тесно обхватывала и тащила вверх, вызывая у Германа приступ тошноты от давления руки на живот и запахов духов, перебродившего пота и старости.

Сидеть на красных бархатных стульях было сначала весело. Толстые орущие мужчины и женщины в странных одеждах смешили Германа и Еву. Брат и сестра прыскали, давились смехом и получали от соседей змеиное шипение, а от бабушки устрашающие взгляды, а то и подзатыльники. А потом смешно быть переставало, наступала мучительная скука, которая тянулась и тянулась. Ева засыпала, а Герман ерзал на стуле и шкрябал, прорезал ногтем лак на поручне кресла или ножке костылей.

Один раз бабушка сводила их в цирк. Герману понрави-

лось, но самой бабушке было неинтересно – и, *господи, как же воняет*. Запах и правда был сильным (они сидели в третьем ряду), терпким, но Герман с ним поладил. С запахами он выстраивал особые отношения. Ему были нипочем запахи, которые большинство людей не любили, например, больницы или мусорного бака. При этом он не переносил всеобщих любимцев – запаха воздушных шариков и – да – елки.

Из цирка бабушка их увела в антракте. В утешение расплакавшемуся Герману предложила зайти в кафе. Пузырьки «Дюшеса» больно и жестко били в нос, мешались со слезами и обидой.

– Как-нибудь свожу вас на детский спектакль, – пообещала бабушка, – в кукольный или ТЮЗ.

Но так и не сводила – она никогда не делала того, чего ей не хотелось.

Когда появились Ева и Герман, бабушка еще работала в книжном магазине на улице Кирова[1]. Восседала на кассе в отделе художественной литературы. Царская прическа, перстни на руках. Хорошие книги были крепкой валютой и позволяли бабушке участвовать в той круговой поруке, которая делала жизнь не только сносной, но и занимательной. Знакомые были у бабушки везде. В ресторанах, обувных, больницах и парикмахерских, театре. При Германе и Еве появились детские врачи, продавцы детских магазинов, позд-

[1] С 1990 года – Мясницкая.

нее – учителя в школе. Все эти тайные взаимовыгодные игры вовсе не были бабушке в тягость, о нет, напротив, она играла в них с удовольствием.

Время от времени бабушка принимала гостей – давних знакомцев из союзных республик. Грузины, армяне, азербайджанцы, молдаване. Это были внуки и дети однокурсников и однополчан бабушки (в войну она была связисткой). Когда приезжали южные гости, квартира наполнялась незнакомым, щекотным благоуханием. Женщины все время что-то жарили на кухне, запекали, тушили. Их бархатные голоса весело переговаривались. Ева крутилась рядом с гостями. Обученная еще Андреем, она помогала сыпать муку для лепешек, мыть овощи и чужеземную зелень. Высунув язык, снимала кожицу с крупных сладких помидоров. Нюхала специи и тут же радостно и громко чихала.

Герман иногда тоже заглядывал в женское царство. Женщины ловили его, усаживали на табурет у стола, заваленного овощами и зеленью. Гладили по плечам, обнимали. Говорили, что он совсем худой и так нельзя, восхищались его светло-серыми глазками. *Какой красавец вырастет мужчина. Русский витязь*. Все это говорилось с завораживающим акцентом, цоканьем языком. Спрашивали, не болит ли ножка. Качали головами, огорчаясь, что ему приходится ходить на костылях. Все, что Герман боялся услышать, они произносили легко и не обидно и так просто, что Герман переставал дичиться и соглашался попробовать острого чахохбили или

кисло-сладкого варенья из зеленых грецких орехов, глотнуть терпкого домашнего вина. Ближе к вечеру, когда все собирались, на кухне устраивался пир, в котором Ева и Герман всегда участвовали на первых ролях.

Гости щедро платили за постой и рублями, и гостинцами. Бабушка встречала их с неподдельной радостью, удобно устраивала и сводила с нужными людьми.

– Пойдем ко мне, Лейлочка, я позвоню Владимиру Николаевичу, и всё уладим.

Лейлочка, большая испуганная армянка с влажными от волнения усиками, тяжелыми роскошными черными волосами (на их фоне волосы Евы уже и не казались ни черными, ни роскошными), переваливалась за бабушкой, присаживалась на краешек дивана в бабушкиной комнате, той, где часы с птенцами, сжимала ноги и стискивала руки, пытаясь при этом улыбаться.

Бабушка садилась в любимое кресло, раскрывала толстую тетрадь в оранжевом кожзаме и листала исписанные страницы крупным пальцем. Брала телефон, прикрывала ненадолго глаза, находила особую для таких случаев внутреннюю улыбку. Пока ее указательный палец крутил тугой телефонный диск, сама бабушка перемещалась во времени. Герман любил наблюдать за ней в эти минуты: у нее менялся голос, осанка, даже движения, с каждым собеседником она становилась другой женщиной.

– Здравствуй, Владичек… Да, это я… И я рада слышать

тебя… Как ты, мой дорогой… Ну а я, Владичек, вот чего тебе звоню…

Завершив разговор, опускала трубку и еще некоторое время прислушивалась к затихающим чистым отзвукам в том несуществующем на карте пространстве, где только что разговаривала и жила. Поднимала глаза на Лейлочку, сгрызшую уже от волнения полногтя. Тряхнув царской прической, возвращалась в Москву восьмидесятых:

– Ну вот, Лейлочка, девочка моя. Все уладилось. Владимир Николаевич будет ждать тебя во вторник в три часа.

Прощались с объятиями и слезами. Закрыв за гостями дверь, бабушка вытирала слезы. Вытаскивала из кармана деньги. Привычно пересчитывала:

– Вот сказала же – не надо денег. Мы ведь все равно что родные.

Бережно складывала купюры и убирала в шкаф в деревянную шкатулку с резными ящерицами. Запирала шкатулку на маленький ключик. Шкаф тоже запирала. Ключи носила с собой – в кармане атласного халата. Если гости жили недолго, грустила до вечера, а если неделю-другую – заметно веселела и принималась напевать мелодии из любимых опер.

12

На третий день после похищения Герман состригает Арише волосы машинкой. Процедура ее удивляет, но, похоже, не расстраивает. К очкам с простыми стеклами, с пластмассовыми красными дужками, стянутыми резинкой за головой, Ариша уже привыкла. Сидя на стуле, девочка болтает ногами. За окном льет холодный дождь, подсвеченный краешком низкого солнца. Мягкие, как шкурка гусеницы, волосы девочки падают на пол, обнажая на крупной детской головке нежную кожу. Готово. Герман выключает машинку. Ариша трогает стриженую макушку: *ёик.* Подняв заискивающий взгляд на Германа, берет его руку и проводит по своей обновленной голове. *Ёик,* повторяет она радостно. От волос осталось миллиметров пять, остатки эти действительно немного колются.

Лысая, в очках, с вытянутым тельцем, Ариша больше не похожа на милашку с фотографии, развешанной повсюду в Москве. Теперь она напоминает мальчика. Герман берет с подоконника склянку с йодом, привычно цепляет взглядом МКАД – по нему, словно по опрокинутому беличьему колесу, движутся и движутся под дождем сомнамбуличные машины. Повернувшись, останавливает бегающую по комнате Аришу, наносит ватной палочкой на лысую голову и часть лба насыщенное йодовое пятно. Это для любопытных сосе-

дей, уже несколько раз звонивших в дверь познакомиться. Узнав про лишай, они точно умерят пыл.

Чтобы отвлечь девочку от размышлений по поводу озадачившего ее йодового пятна, Герман вытаскивает из кармана джинсов чупа-чупс. Несколько секунд, весьма ловкие для трехлетнего ребенка движения пальчиков, и воздух в комнате наполняется химическим благоуханием апельсина.

Герман обращается с Аришей предупредительно. Лишнее внимание соседей ему ни к чему. Впрочем, девочка не плаксива. А если и плачет, то тихо, будто кто-то специально обучил ее этому. Сама зажимает себе рот или ложится лицом на диван или подушку. Вчера, впрочем, прищемила палец дверью, вот тогда уж разревелась по-настоящему. Герман сначала сделал несколько снимков плачущей пленницы на *Polaroid*, а потом уж донес ее до ванной и подставил руку под ледяную воду.

Всю неделю Герман придерживается плана и не выходит на улицу. В морозилке достаточно сосисок, а в коробке на полу полно пакетов молока. Ариша берет их сама, когда захочет. По правде говоря, Герман мало обращает на девочку внимания, все его мысли заняты Ломакиными. Герману очень хочется посмотреть на их лица. Это была бы ничтожная плата за последние четыре года ада. Но он понимает: если Олег Ломакин его заметит, узнает, то тут же выстроит возможную логическую цепочку. Конечно, если он и помнит Германа, то толстым мягкотелым братцем, и ему и в голову

не приходит, что он, Герман, знает, что на самом деле произошло в Севастополе в октябре 1999 года. Что вообще кто-то об этом знает. И все же рисковать не стоит.

24 октября, едва проснувшись, Герман включает городской канал. В конце выпуска новостей дают все то же объявление о пропаже дочки Ломакиных. Диктор просит зрителей, которые что-либо видели на представлении 12 октября в цирке Никулина или знают, где сейчас находится девочка, позвонить по телефону – номер его бежит, спотыкаясь, внизу и теряется в углу экрана. На несколько секунд экран заливает солнечная фотография Ариши. Девочка снята на яхте. В белых шортах и маечке, стоит, прислонившись к борту. Выгоревшие волосы развеваются на ветру, лицо вытянуто, небольшие глаза высвечены уже снижающимся солнцем. Глядит в камеру этим своим сосредоточенным взрослым взглядом, который Герман уже немного изучил. Взгляд этот объясняется, видимо, тем, что девочка многое понимает, но почти не говорит.

Герман садится за компьютер. Прежде чем включиться, машина долго гудит, попискивает. Он заходит в интернет и перечитывает все, что выпуклый маленький экран выдает о похищении дочери владельца компании *«ML Marine Moscow»,* в состав которой сейчас входят несколько яхт-клубов. Со времени смерти Евы компания расширилась. В одной статье читателей жалостливо и слезливо просят помочь

собрать деньги для выкупа девочки, перечислив их на такой-то счет. В другой – эксперт со звучной фамилией доказывает, что девочку уже разобрали на органы и он, эксперт, даже знает, для кого эти органы предназначены. А вот и что-то новенькое: анонимная соседка Ломакиных сообщила журналисту, что девочку спрятала сама Ольга. Муж, сообщила соседка, регулярно бьет Ольгу, и та боится за дочку. Тут же в доказательство помещена смазанная фотография – Ломакины сняты в супермаркете, Олег крепко держит Ольгу за локоть, она опустила голову, выражений на лицах не разглядеть.

Герман закрывает глаза. Никто, никто не знает, что происходит на самом деле. И, скорее всего, не узнает никогда. Только теперь он осознаёт, какой выбор сделал. Быть всего лишь исполнителем, тенью. Сколько сил ему понадобится, сколько выдержки. Но хотя бы раз-то увидеть мучения Ломакиных он имеет право! Герман встает со стула, берет пальто, ключи от машины и быстро, пока сам себя не остановил, спускается по лестнице с двенадцатого этажа, припадая, как всегда при сильном волнении, на правую ногу.

Дворники возбужденно смахивают со стекла слезы позднеосеннего дня. Под колесами снежная каша. Герман обгоняет машину за машиной, прибавляя и прибавляя скорость. На нескольких рекламных щитах ему попадаются фотографии Ариши. Олег не жалеет средств на поиски дочери. Фо-

тография девочки висит в автобусах, вагонах метро, поездах, школах и магазинах, на каждом подъезде каждого дома в Москве. Фотография все та же, где Ариша снята на борту яхты. На рекламных щитах, из-за того что фотография сильно увеличена, девочка кажется старше. Внизу номер телефона и слова «Верни нам дочь». Герман уже выучил номер – 8–903–526… Набрать бы и сказать все, что переполняет сердце. Но нельзя, нельзя… Увидев указатель на Ленинградское шоссе, он сворачивает с МКАД и спустя несколько минут въезжает во двор дома Ломакиных.

Ольга как раз заходит в подъезд. На ней черное пальто. Песочные волосы зачесаны с такой силой, что отливают как натянутые до предела струны на скрипке. Поблескивают от снега. Ольга тянет ручку двери, но, будто почувствовав взгляд Германа, вцепившегося в руль машины, оборачивается. На самом деле ее окликают несколько журналистов или зевак, толпящихся у подъезда. Ольга снимает солнечные очки и затравленно глядит на журналистов. Лицо осунулось, постарело. Сухие губы вздрагивают, выталкивают какое-то слово. Глаза запали. Под левым расплылся радужный фиолетово-красно-черный синяк. Порыв ветра поднимает с асфальта скукоженные листья и сквозь снег кидается ими в Ольгу, точно камнями в преступницу. Женщина закрывается рукой, и, сгорбив спину, исчезает в темноте подъезда.

Больше Герман не рискует. Весь месяц он и Ариша сидят безвылазно в квартире. Лишь иногда Герман спускается

в ночной магазин, чтобы купить очередную порцию сосисок, молока, чупа-чупсов и пива. Ну и еще газет. От официальных до самых желтых. Придя домой, жадно пролистывает в поисках хоть какой-нибудь информации о деле Ломакиных. Но об этом пишут всё реже. Фотографию Ариши газеты еще печатают, а вот в телевизионных новостях уже и этого нет. Герман переносит телевизор в комнату Ариши и предоставляет в полное ее распоряжение.

13

В конце октября 1981 года бабушка повезла Германа к врачу. Она водила белый, подтаявший и слизанный по бокам, как мороженое, «Москвич-2140». Еву бабушка посадила рядом с собой, а Германа и его подпрыгивающие костыли устроила на заднем сиденье, обтянутом кожзамом. Едва отъехали, Ева встала на колени и, вытянув толстую шею, принялась любоваться собой в зеркало заднего вида. Из-под клетчатого пальто выглянуло коричневое школьное платье с кружевным воротником, темный фартук. Приподняв верхнюю губу, Ева уставилась на передние зубы, к которым ни она, ни Герман еще не привыкли. Ровные, крупные зубы поблескивали в сгущающемся осеннем сумраке. Зубы выросли недавно, но не сомкнулись. С щербинкой у Евы получалось здорово свистеть.

Герман поймал взгляд сестры в отражении и сложил губы трубочкой – *свистни*. Темные глаза Евы важно остановились на тщедушном мальчике, отразившемся глубоко внутри зеркала. Немного подумав, Ева засунула два пухлых испачканных чернилами пальца в рот и заливисто, громко и восхитительно свистнула. От восторга машина вильнула. Бабушка в это время самозабвенно и сладко вещала про то, как она девочкой в шляпке с лентами гуляла с нянькой по *тому вон бульвару*. Медвежонковый рев мгновенно сменился на рык

разъяренной медведицы. Бабушка так рявкнула про отродье кое-какой матери, что Ева на всякий случай отодвинулась подальше к дверце, а у Германа уши увеличились и стали горячими.

У врача оказалось красное лицо, крупный, мягкий, словно из пластилина, нос. Врач стоял у окна и долго смотрел на свет рентгеновский снимок. Потом говорил много непонятных слов. Бабушка сидела на стуле и оправдывалась:

– Маленький городок, что с них взять. Ногу хотя бы спасли.

Врач фыркал. Ева бродила по кабинету. Герман в синих сатиновых трусах и белоснежной майке сидел на кушетке и ждал приговора.

Все в кабинете казалось Герману волшебным – шкаф у стены с книгами, папками и статуэтками за стеклом. Загадочные медицинские предметы и приспособления. Сам врач, невысокий, но широкоплечий, стучавший каблуками ботинок по плиткам пола. Полированный стол со стопками бумаг. Графин, вода в котором сияла и двигалась серебряными подрагивающими кругами.

Воздух в кабинете был прозрачен и слоист одновременно. Герман снова и снова тянул носом. Пахло хлоркой, спиртом, сладко-тревожным гипсом. Названия этих запахов Герман уже знал. А еще пахло ранами, засохшими корками кисло-соленой крови. Из открытой форточки тянуло осенью. Были еще и другие запахи – мокрой шерсти бабушкиной юб-

ки, гуталина и приторных ландышевых духов, которые Ева где-то стащила и щедро себя побрызгала. Все эти запахи образовывали один – больничный. Герман передернул плечами – то ли от холодного воздуха, дувшего из форточки, то ли от сквозняка будущего.

Врач принялся осматривать ногу Германа. Сопел, ощупывал, надавливал. Поворачивал деформированную ступню с выпирающими бугорками вправо, влево. Когда было слишком больно, Герман моргал часто-часто, будто от удивления.

– Что, не боишься боли? – Врач заглянул ему в лицо. – И меня не боишься? Нет? Редкий случай. – Он усмехнулся. – Что ж, тогда мы с тобой поладим.

– Так что, Евгений Николаевич? – взволнованно спрашивала бабушка. Она стояла рядом, непривычно скромная и притихшая, с растрепавшейся царской прической. – Что нам делать-то?

– Операцию, Анна Петровна. Если повезет, будет ходить с палочкой. Сейчас пусть мальчик одевается, а мы с вами всё обсудим.

Евгений Николаевич сдержал обещание: через год после нескольких операций Герман смог ходить с палочкой. Гусаком, сильно припадая на укоротившуюся ногу, но – ходить.

– Будем надеяться, что нога не будет дальше укорачиваться, – сказал врач при выписке. – Молитесь, Анна Петровна. – Бабушка фыркнула. К высшим силам она не испытывала по-

чтения. Бабушка и сама умела превосходно управлять шестеренками судьбы. Она праздновала победу и не сомневалась, что скоро трость ее внуку не понадобится. И тогда она займется обустройством их будущего, потому что сама она, конечно, стара для того, чтобы поднимать двоих детей.

Германа записали в первый класс. Бабушка свозила его в «Детский мир», разрешила самому выбрать ранец. Герману приглянулся тот, что из гладкой рыжей искусственной кожи, отливающей одно за другим августовские солнца. Продавщица, бабушка и вся очередь ждали, пока он расстегивал и застегивал портфель, обводил пальчиками фигурку тигренка. Нажимал на сверкающие новенькие металлические подушки застежек, просовывал их под острую металлическую скобу и, расстегнув ранец, глядел в его темные шелковые лабиринты, надушенные запахами новизны.

– Ну что, подходит вам, молодой человек? Берете? – весело спросила продавщица, уловив возникшую перед бурей тишину в очереди. Продавщица была, конечно, *хорошая знакомая* бабушки. Герман застегнул ранец, еще раз провел по выпуклым застежкам и важно кивнул.

В тот день Герман и бабушка провели в «Детском мире» не один час. И сейчас он легко отыскивает в памяти отражение семилетнего мальчика в зеркале примерочной. Новенький школьный костюмчик с эмблемой на рукаве, вкусно, остро пахнувшей резиной, белая щекотная рубашка, брюки, *ко-*

торые надо будет подшить. Глаза цвета халвы, чуть припухшие, весело и счастливо глядящие из зеркала. Волосы отросли и спадают на уши (бабушка отведет его в парикмахерскую попозже, в конце августа, и армянин, тоже *хороший знакомый*, защелкает ножницами, зажужжит машинкой над ухом, а в конце, как артист, сбрызнет аккуратную, с ровными линиями прическу настоящим мужским, терпким одеколоном). На ногах запылившиеся ортопедические ботинки. На правой ноге ботинок больше, и подошва у него толще. Бабушка стоит рядом, напряженно вглядывается в отражение Германа – она не теряет надежды отыскать в его лице, руках, ногах, повороте головы фамильные морозовские черты.

Трость бабушка заказала еще у одного *хорошего знакомого*. Она отвезла к нему Германа ближе к концу августа, когда вездесущее солнце в экстазе поджаривало Москву. Всю поездку оно преследовало бабушкину белую машину. Влетало в лобовое стекло, предполагая одним ударом отправить Германа в нокаут, наносило хук справа, хук слева, сыпало чередой ритмичных ударов. Не гнушалось напасть и со спины и оглушить ударом по затылку.

Бабушка опустила над Германом козырек, но тот ничем ему не помог, так как находился слишком высоко. Саму бабушку от света защищали круглые темные очки. Всю поездку она была непривычно молчалива. Ее крупная обвисшая рука, зажатая под мышкой натянутым кольцом безру-

кавного платья, крутила руль точными и скупыми движениями. Герман ерзал на раскалившемся сиденье, отдирал от искусственной кожи то левую, то правую ляжку, преодолевая при этом сопротивление ортопедических тяжелых ботинок, гирями тянувших ноги вниз. Рубашка намертво приклеила Германа к спинке кресла. Пот лился по вискам, под глазами. Единственным оружием против коварного солнечного врага была белая панамка. Герман сдвигал ее то так, то эдак, защищаясь от солнечных ударов. В редкие минуты перемирия, когда тень от деревьев или домов прохладой ложилась на лицо и колени, Герман, приоткрыв рот, разглядывал столицу образца 1982 года.

Столяр, к которому они приехали, оказался стариком с белыми висячими усами и веселыми голубыми глазами. Бабушка обняла его и назвала *Володенькой*. Старик попросил Германа сжать кусок пластилина правой рукой и, как только мальчик оттиснул пальцы на мягком куске, забрал пластилин, опустил его в какой-то раствор и почти сразу вытащил, зажав по бокам крупным щипцами, положил в металлическую банку.

Однокомнатная квартира старика была превращена в мастерскую: повсюду лежали доски, ящики, инструменты, гвозди. О том, что это и жилье тоже, говорила только жавшаяся к стене кровать с железными шишечками на железных же спинках. Под кроватью, вытащив наружу голову, дремала белая собака со стружкой на лохматых ушах. То припод-

нимая, то опуская брови, следила желтыми щелочками глаз, как ее хозяин измерял рост Германа, подставлял под его руку доску, делал засечки карандашом, предварительно послюнявив грифель. От старика пахло свежим деревом и клеем. Закончив с замерами, он записал что-то в мятую тетрадку, вытер заслезившиеся от напряжения глаза ладонью. Потом отпилил часть доски, подставил под руку Германа, потом еще отпилил и еще подставил.

Бабушка восседала на стуле, отдыхала от жары, обмахивая себя носовым платком.

– Через неделька трость будет готова, – кашлянув, сказал старик и, не зная, куда деть большие красные руки, засунул их в карманы штанов. Бабушка начала неуверенно собираться, но старый столяр, опустив глаза, неловко остановил:

– Самая жара. Переждите. Через часик начнет спадать.

Бабушка, никогда никого не слушавшая, отчего-то согласилась, снова уселась на стул. Старик поставил на электрическую плитку в углу синий эмалированный чайник с отбитыми боками. Подвинул к бабушке круглый стол, очистил место для трех кружек, отодвинув локтем инструменты, скобы и деревяшки. Сдул стружки и мусор. Расстелил газету «Правда». Поставил три чашки и заварочный чайник на снимок двух доярок в белых халатах, позировавших в поле в окружении черно-белых коров. Для Германа и себя придвинул табуретки, сняв с них пожелтевшие журналы и газеты.

Когда чайник вскипел, разлил кипяток по чашкам и в за-

варку. Герман хихикнул про себя: старик, а красные уши торчат, как у мальчишки, и руки трясутся. К чаю старик подал фруктовый сахар. Герман выбрал желтый, осторожно лизнул – вкус ему понравился, напомнил и лимон, и шербет одновременно. Пальцы, липкие от пластилина, стали совсем клейкими, Герман принялся забавляться, то соединяя, то с силой разлепляя их. Бабушка в другое время резко бы одернула его, но в этот раз она будто и не замечала Германа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.